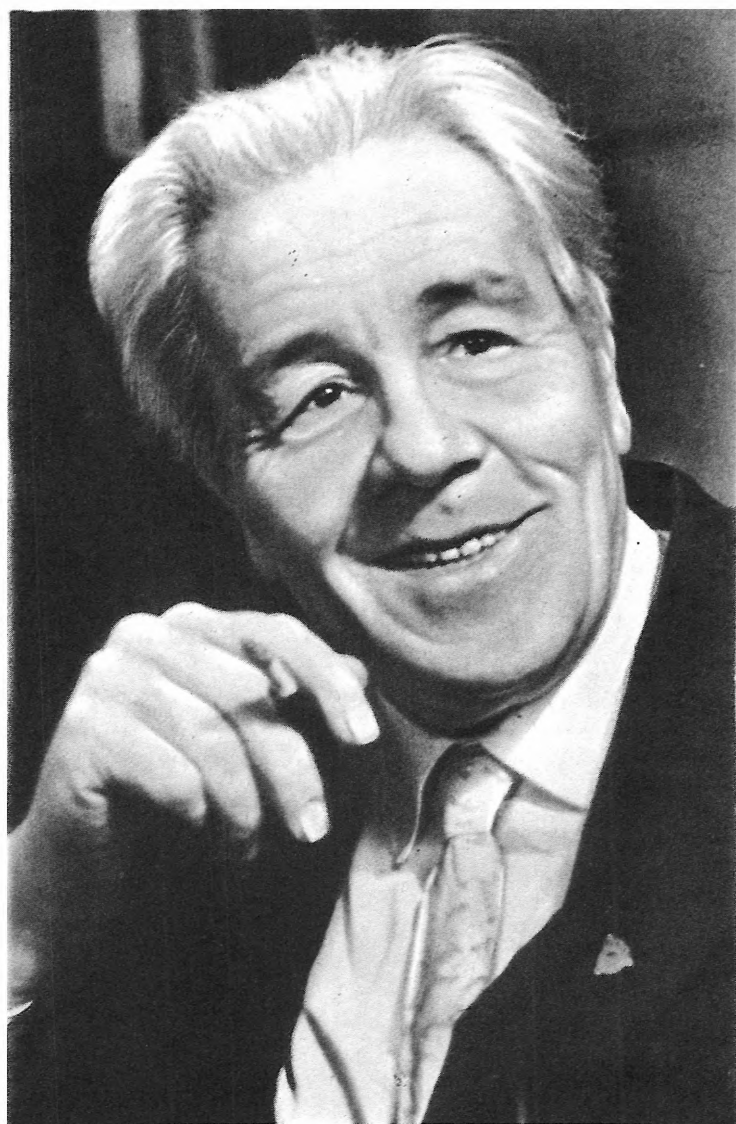


НАТАЛЬЯ БАНК

Л.В. УСПЕНСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ

НАТАЛЬЯ БАНК

Л.В. УСПЕНСКИЙ

Критико-биографический очерк



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Ленинград 1969

8 P 2
Б 23

ОФОРМЛЕНИЕ Л. ЛЕОНТЬЕВОЙ

7-6-3

Тихая улица, ровно застроенная типично ленинградскими (вернее, петербургскими) трех- четырехэтажными домами, как бы замкнутая с одной стороны аркой здания Сената и Синода, с другой — зеленой набережной Ново-Адмиралтейского канала, кажется, создана для молчаливых, сосредоточенных раздумий. Ныне Красная, раньше она называлась Галерной, под этим именем осталась в прекрасных стихах («На Галерной чернела арка...», «Под аркой на Галерной наши тени навсегда...» — Анна Ахматова). Это старое название возвращает нас к петровской эпохе, к временам основания города. Здесь живет история, к ней нельзя не прислушаться, неторопливо — только так! — следуя от площади Декабристов в сторону Адмиралтейского завода.

Улица скромна. Большинство особняков — творений петербургских зодчих XVIII—XIX веков, с охранными таблицами на каждом («Памятник архитектуры...») — своей торжественной, лицевой стороной выходят на набережную Красного Флота. Там — вспомним строки Пушкина — «город пышный», здесь — если и не «бедный», то, во всяком случае, более интимный, неофициальный, тылы великолепных зданий, многоарочные подворотни, глубокие, как колодцы, то мрачноватые, то неожиданно высвеченные солнцем петербургские дворы.

На самой Красной улице — мемориальные доски: на доме № 5 — в 1911—1913 годах здесь жил Николай Ильич Подвойский, председатель военно-революционного комитета при Петроградском Совете в период Октябрьской революции; на доме № 40, где жил и 5 сентября 1848 года умер зодчий Василий Петрович Стасов. В самом конце улицы, на ограде особняка Бобринского, увековечены имена архитекторов, в XVIII веке строивших, в XIX веке перестраивавших этот миниатюрный дворец.

Пусть не покажется читателю излишним скрупулезный перечень примет этого уголка Ленинграда, расположенного буквально в двух шагах от Медного всадника, в нескольких минутах ходьбы от Исаа-

кня, но, к сожалению, мало кому известного и из многочисленных наших туристов, и из коренных ленинградцев.

А ведь это случается часто: рядом с узаконенным, хрестоматийно великим и знаменитым не кричащее о себе, не опознанное до поры до времени, но в своем роде не менее значительное таится, скромно отходит в сторону, уступая первенство другим. Так в мире мертвых вещей. Так и среди людей, и в различных искусствах, литературе в частности. . .

На эти размышления наводит не только характер, черты улицы, которая чудом спряталась от толп паломников в самом центре Ленинграда. Существует примечательная, явно видимая гармония человека, живущего здесь вот уже много лет, и города — в этой его части. Они дополняют друг друга, и разделить их — трудно.

Лев Васильевич Успенский живет в доме № 41, что второй от угла за площадью Труда, шумно и широко разрезающей Красную улицу где-то посередине, с тем чтобы тотчас же все звоны и грохоты снова растаяли в ее узком русле. В этом доме высокие деревья во дворе, и осенью густо шуршат под ногами листья. Деревянная лестница ведет на третий этаж. Непривычно, не каменно звучат по ней шаги.

Хозяин квартиры без суеты, сдержанно приветлив. Вон на письменном столе с трудом примостившаяся среди бумаг и книг словно остывает натруженная за день пишущая машинка. Она кажется очень маленькой в руках Льва Васильевича. И хорошо себе представляешь, как только что он сутулил над нею спину и крупные пальцы осторожно, словно боясь раздавить их, нажимали на клавиши.

В облике Льва Васильевича Успенского удивительно соединяется нечто от простого русского крестьянина и исконного петербуржца, настоящего интеллигента в самом лучшем значении этого слова, интеллигента не в первом колене. Крупные черты лица. Большая, массивная фигура. Острый взгляд добрых и одновременно строгих глаз. Руки труженика.

В кабинете не солнечно и днем, как-то тенисто, темновато от книг. (Здесь вспоминаются строки Леонида Мартынова: «. . . и все портьеры черные, и черные углы, и кресла черно-бурые, толпясь, молчат вокруг. . .») Но в этой комнате нельзя запутаться, как в дебрях, среди стеллажей. Идеальный порядок царит на книжных полках, четкая система — в ящиках, где одна за другой выстроились сотни, тысячи карточек, незаменимых в «кладке» известных лингвистических книг Л. В. Успенского.

Мы не раз вернемся сюда, в кабинет писателя, к этим книгам и карточкам, к его беседам и воспоминаниям. . .

Я начала очерк жизни и творчества Л. В. Успенского с очевидной для меня аналогии: улица — человек (созвучие их обликов, похоть судьбы), — хочется прояснить, завершить ее.

Я не о том, что известность этого писателя, пропаганда его творчества много скромнее, чем могла бы быть. Речь идет об особом характере его литературной работы, когда, выражаясь метафорически, на очень прочном, очень солидном фундаменте, который мог бы выдержать и высоту большую, и тяжесть, строитель не торопится возводить многоэтажное здание, украшать его роскошной лепкой, изящными балконами, колоннами.

Интересы Л. В. Успенского необычайно широки. Археология (вспомним написанную им совместно с К. Шнейдер книгу «За семью печатями») и история флота, морских сражений (книга «Корабли», повесть «Скагеррак»). Авиация («Наши самолеты» — в соавторстве с В. Балабановым) и география (назову пока лишь «Занимательную географию», но в скольких повестях, рассказах дает себя знать эта старая привязанность писателя!). История Ленинграда и его настоящее. Ну и, разумеется, лингвистика — первая любовь Л. В. Успенского («Слово о словах», «Ты и твое имя», «Имя дома твоего», этимологический словарь школьника «Почему не иначе?», многочисленные статьи, очерки о языке).

Беглое знакомство с библиографией произведений Л. В. Успенского может заронить мысль: а нет ли во всей его деятельности дилетантства, разбросанности? Но внимательное изучение его творчества полностью рассеивает это опасение. Потому что интересы писателя фундаментально подкреплены разносторонними, основательными знаниями. Они-то и создают свободу обращения с фактами различных наук, с материалом истории, с русской и мировой поэзией — свободу, которая отличает и большие книги, и короткие статьи Л. В. Успенского. И разумеется, не вычитанное по данному, конкретному поводу, а большая общая культура писателя — источник этой богатой фактической оснащённости, широкого научного диапазона работ Л. В. Успенского. Хочется говорить именно о культуре, образованности писателя, избегая модного ныне слова «эрудиция», в котором есть что-то легковесное, чисто внешнее...

Кто же он, Лев Васильевич Успенский? Как определить его место в литературе? Он сам весьма скромно называет себя «литератором, много пишущем о языке». Немногочисленная пресса к шестидесятилетию писателя высказалась на этот счет щедрее, объективнее: «Популяризатор и новеллист, романист и ученый-языковед, один из составителей картотеки древнерусского словаря (непростительно, что ценнейшая картотека эта погребена в академических

погребях...), знаток родного края, его природы, истории...»¹ Все так. И многие аспекты литературной деятельности Л. В. Успенского названы совершенно верно. А вот о характере всей этой многообразной работы не сказано ничего.

Мне кажется, что в связи с творчеством Л. В. Успенского возникает необходимость оживить, наполнить современным смыслом слово, которое по своему содержанию, как правило, ассоциируется у нас с далеким прошлым. Это слово: *просветитель*.

Просветитель, не избравший для себя одного какого-нибудь жанра, дабы числиться по категории научных фантастов или, скажем, исторических романистов, хотя причастен и к тем и к другим («Пулковский меридиан» и «60-ую параллель» можно рассматривать как исторические романы).

Путь писателя-просветителя, писателя-ученого нелегок. Случается, известная часть труда, порой очень существенная, которая кому-то представляется пока «неактуальной», ненужной, не доходит до печати или доходит с большим опозданием. В статье к юбилею Л. В. Успенского, только что процитированной, это справедливо отмечено в скобках.

Характерно, и связано это как раз с просветительским характером всей деятельности писателя, что в творчестве Л. В. Успенского одинаково важное значение — я берусь это утверждать — имеют большие романы, неоднократно переизданные, и очерки-миниатюры, статьи, так и оставшиеся в газетах, забытые в журналах, не «толстых», не первой величины. Лев Васильевич очень часто выступает в периодике, не считает для себя, маститого литератора, зазорной любую трибуну.

В своей деятельности, которую хочется назвать «чернорабочей», Л. В. Успенский всегда основателен, досконален, точен. Крошечная справка «У мыса Гангут»² или советы натуралисту «Пионер на берегу ручья»³ выполнены в своем роде не менее исчерпывающе и образно, чем отдельные главы лингвистических романов или «Занимательной географии», археологии и т. д.

Л. В. Успенский не делает сокровищ из каждого написанного им слова. Он строг к своей работе, слишком строг, а потому щедр.

Щедр, когда исключительно точное свое историческое знание скромно демонстрирует где-то в скобках, в обособлении, попутно.

¹ В. Сафонов. 60-летняя юность. «Ленинградская правда», 1960, 17 марта.

² «Костер», 1944, № 4, стр. 20.

³ «Пионер», 1945, № 7, стр. 26—27.

Щедр, походя упоминая факт, добытый некогда в нелегких научных раскопках.

Скоро мы убедимся в этом, рассматривая, наряду с крупными произведениями Л. В. Успенского, его статьи, заметки о языке, очерки, посвященные Ленинграду.

Окна квартиры Льва Васильевича Успенского выходят на две стороны. И с одной из них открывается вид на классический Ленинград: простор Невы (здесь она уже чуточку пахнет морем), мост Лейтенанта Шмидта, Академия художеств на том берегу, задумчивые сфинксы. А наискосок от дома, в котором живет Л. В. Успенский, совсем поблизости, недавно воздвигнутая стела — гранитная плита, и на ней высечены слова о том, что 25 октября 1917 года здесь стояла «Аврора», возвестившая громом своих пушек начало новой эпохи.

Тот исторический день известен Льву Васильевичу не по книгам. «Лев Успенский начал вглядываться в мир фактов и в мир слов, когда у мира были совсем другие интеллектуальные и бытовые очертания. Не существовало не только такого слова, как «лунник», но и таких привычных названий, как «Дом детской книги», «Детгиз» или «Дворец пионеров»¹. Одно поколение с Кавериним и Николаем Чуковским; Заболоцким и Светловым, М. Слонимским и Зошенко (три-четыре года разницы не в счет), он принадлежит к немногочисленной уже, поредевшей от войн и других серьезных испытаний эпохи когорте людей — ровесников века.

Если бы можно было просто обязать каждого из них, чтобы в какой-то момент — его наступление надо почувствовать — отложил все дела, прервал начатое и взялся за книгу «о времени и о себе». Если бы можно было... Ведь иные уже ушли, так и не успев этого сделать.

Вот и жизнь Льва Васильевича Успенского, его пути-дороги, не раз совпадавшие с параллелями и меридианами нашего века, наверное, могли бы послужить основой для романа без вымыслов и детективных лабиринтов. Но Успенский из категории тех писателей, которые — в творчестве — мало открывают себя, к фактам собственной биографии обращаются редко, так что необходимой «канвы жизни и творчества» по его произведениям не составить.

До недавнего времени казалось: Успенский по сути своей не лирик. Не лирик, а потому жизнь эта, весьма богатая событиями, дружбами и разочарованиями, большим и разнообразным трудом, вряд ли расскажется вслух. Однако эти предположения оказались

¹ Г. Гор. Слово о Льве Успенском. «Литература и жизнь», 1960, 20 марта.

преждевременными. В сентябре 1966 года «Звезда» опубликовала записки Л. В. Успенского «У Лукоморья»¹, которые показали писателя с новой, неожиданной стороны. Порой сдержанная, местами педантично, суховаато аргументированная («все мы — не бесстрастные и беспристрастные фотокамеры, заряженные стандартной пленкой и снабженные одинаковыми объективами. У каждого... свой съемочный аппарат, снабженный линзами индивидуальной кривизны: их отшлифовала и отъюстировала вся предшествующая жизнь наша»), вдруг зазвучала исповедь.

Как знать, может быть, перед нами часть (военная глава) именно такой книги жизни? Об этом пока еще трудно гадать. Очевидно и важно другое: в воспоминаниях, где рассказ о пережитом переплетается с любопытным авторским комментарием к написанному прежде, и проходят люди, дорогие Л. В. Успенскому, оказалась преодоленной известная замкнутость внутренней, душевной жизни писателя, — пожалуй, впервые *открыто* проявилась его личность.

Я начинаю рассказ о Л. В. Успенском как бы с конца. Но это делается намеренно. Ведь «Лукоморье», а также некоторые его статьи последнего времени по-другому высветили сюжет литературной биографии писателя. Ее вершиной — пока, по крайней мере, — принято считать лингвистические книги. Они, безусловно, и составляют основной его вклад в литературу. Однако попытаемся определить самую суть пути писателя. Мне она видится прежде всего не в постепенной концентрации интереса, творческих сил Л. В. Успенского на одном, главном предмете (языкознание в различных аспектах), но в обретении, с годами, все более активного и страстного гражданского чувства. Оно слышнее, скажем, в недавних топонимических статьях Успенского и книге «Имя дома твоего», чем в «Слове о словах», оно убедительнее, достовернее, это гражданское чувство современника и участника значительных событий нашей эпохи, в «Лукоморье», чем в романах «Пулковский меридиан» и «60-я параллель».

¹ Вошло в сб.: Рядом с героями. Л., «Советский писатель», 1967, стр. 206—246.

ИСТОКИ

Определение «ровесник века» имеет к Л. В. Успенскому отношение самое прямое. Он родился в Петербурге 27 января (9 февраля) 1900 года¹.

Вместе с братом Всеволодом², двумя годами моложе его, Лев Васильевич рос и воспитывался в интеллигентной семье: отец — инженер-геодезист, мать — человек с тонким вкусом и незаурядными вокальными данными, наверное, могла бы стать профессиональной певицей. Здесь знали и любили настоящую книгу, старались сизмала привить детям интерес к языкам.

Дома, на Выборгской стороне, не чуждались политики. Лев Васильевич говорит о весьма радикальных взглядах родителей, вспоминает, что встречал в бумагах отца выписки из «Капитала». У Успенских постоянно бывали вольнодумцы — студенты Лесного и других институтов. В ванной, как помнится, прятали революционные листовки. Кажется, первые серьезные слова, которые запомнил мальчик, были «эсдеки» и «эсеры».

Летом, из года в год, семья выезжала на Псковщину, под Великие Луки. Природа чудесного края России, общение с деревенскими ребятишками оставили заметный след в душе. С псковской землей жизнь сводила будущего писателя и позднее, когда во время голода, после революции, семья переехала туда на постоянное жительство (1917—1923). Случайно ли, что на Псковщине

¹ Биография Л. В. Успенского (особенно детство) весьма подробно изложена в статье Р. И. Филипповой «Лев Успенский и его книги» — предисловии к сборнику повестей и рассказов писателя (Л., 1965, стр. 5—16).

² В. В. Успенский (1902—1960) — литературовед; автор книги «Петербургские зодчие»; талантливый преподаватель, много лет отдал театрально-педагогической деятельности, был соавтором Л. В. Успенского (об их книгах, написанных совместно, см. далее).

развертывается действие многих произведений Л. Успенского или оттуда родом герои его рассказов.

О своем первоначальном образовании, об учителях Л. В. Успенский отзывается с благодарностью, тепло. Два класса он окончил на Выборгской стороне в восьмиклассном коммерческом училище Петра Андреевича Германа — учебном заведении радикальной ориентации¹. С некоторыми из соучеников писатель до сих пор сохранил дружеские связи.

Потом была гимназия Мая, одна из лучших в Петербурге. В этом здании, угол 14-й линии и Среднего проспекта на Васильевском острове, теперь помещается 5-я школа, и на вечерах встречи среди почетных гостей — прежних учеников — бывает Л. В. Успенский. «Три четверти внутреннего содержания приобретено именно там», — говорит он о гимназии. Здесь определились гуманитарные интересы будущего писателя. Любимые предметы — история, география и латынь. «Иван Гримм и Лев Успенский — два моих лучших ученика, — повторял латинист. — У Льва Успенского даже самые ошибки говорят о глубоком знании предмета».

Лингвистическая жилка рано дала о себе знать. Но меньше всего Лев Успенский был книжным червем, умным мальчиком не от мира сего. Приближался 1914 год, в воздухе начинало тянуть пороховым дымом. «Тогдашние гимназисты-третьеклассники многое видели острее и яснее, чем их родители, — вспоминает Л. В. Успенский. — Они... сотни раз уже читали в газетах слово «Сараево»... Тогдашний школьник знал в лицо сэра Эдуарда Грея и сэра Герберта — Генри Асквита, господина Пуанкаре и господина Бетмана-Гольвега... Он нюхом чуял идущий от всего этого острый и тревожный запах крови. А когда чутье ему отказывало, на помощь приходили сегодня «Война в воздухе» Герберта Уэллса, завтра — «Адская война» Жиффара... Вот почему, когда в ильин день четырнадцатого года заголосили по псковским и рязанским деревням и молодухи-жены, и старые матери, когда по пыльным проселкам поскакали сотские с повестками — выгонять ратников на сбор, взрослые сильнее растерялись перед лицом катастрофы,

¹ Воспоминания Л. Успенского о первом школьном дне см. в его статье «К новой радости». «Учительская газета», 1967, 1 января.

чем мы, подростки-интеллигенты. Мы-то ждали ее, спасибо Уэллсам!»¹

Начало империалистической войны крепко запечатлелось в сознании. Четырнадцатилетний подросток Лев Успенский ехал в тот день «с почты на поджаром велосипеде «мустанг» и в сумке на фонарном крючке вез пачку газет. Он уже прочел их, и теперь в мозгу... звучали траурно-великолепные тютчевские строфы: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»² И ведь было над чем размышлять тревожно и торжественно. Проблема мировых войн давно волновала Леву Успенского; дома хранилось восемь тетрадок, исписанных корявым почерком, с одной и той же надписью на каждой: «Великая русско-германская война 1935-37 гг. Записки военного корреспондента Л. В. Успенского» (и это в семье, из обихода которой были изъяты все военные игрушки, — матери казалось, что они возвращают детскую душу, и хотелось верить, что ее мальчики, рожденные в эпоху Гаагской конференции, никогда не узнают войны).

И вот теперь история грозно заявляла о себе. «Мальчишка, два года назад присвоивший себе звание «военного корреспондента», насторожил уши, — слегка иронизирует Л. В. Успенский сегодня над тем, давним, мальчишеским восприятием событий. — Он готовился созерцать *высокие зрелища*, пить бессмертие из чаши богов. Он всерьез готовился слушать, смотреть и сохранять все это в сердце своем — для будущих поколений... Смешной подросток! Если бы знал он уже тогда, сколько горьких и жгучих глотков содержит тютчевская чаша бессмертия, как долго, как бесконечно долго суждено его поколению не отрывать от нее своих уст!»³

Итак, рождение серьезной, осознанной мысли о писательстве Л. В. Успенский связывает ныне с первыми днями империалистической войны. Но, разумеется, от горячего желания послужить человечеству словом до его осуществления предстоял путь долгий и нелегкий, о ко-

¹ Сб. «Рядом с героями» Л., «Советский писатель», 1967, стр. 209—210.

² Там же.

³ Сб. «Рядом с героями». Л., «Советский писатель», 1967, стр. 210.

тором четырнадцатилетний мальчик вряд ли подозревал.

А в эту пору он писал стихи, настоящие, как ему казалось, не в пример детским, которые научился сочинять лет пяти-шести, и делал это с удовольствием, очень легко, соревнуясь с братом. Теперь, особенно после знакомства с Бальмонтом (одно из его стихотворений, «Все мне чудится...», помещенное в хрестоматии для 4-го класса, произвело на Леву Успенского наибольшее впечатление — ему вдруг открылось, что такое истинная поэзия), было иное: стихи шли всерьез; с их опубликованием гимназист Успенский не торопился, но лет в шестнадцать решил, что, наконец, пора. Его внимание привлек тогда почему-то толстый «Вестник Европы», несмотря на старозаветное направление в поэтическом отделе этого журнала. Стихи были посланы туда. Через полтора месяца пришел отзыв от старейшего сотрудника «Вестника» Константина Константиновича Арсеньева. Он сурово отнесся к поэтическим опытам Л. Успенского. Второй ответ безвестному юноше прислал крупный историк литературы Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский. Тон этих восьми страниц, исписанных мелким почерком, был очень доброжелательным: стихи вполне грамотные, их можно печатать, но подумайте хорошенько, ваше ли это призвание; все начинают со стихов; может быть, стоит подождать: ведь главное — слушать жизнь и набираться житейского опыта. Кажется, сама жизнь подтверждала правильность тех напутствий, которые содержались в письме. Она определила настоящую цену той, ранней, от литературы идущей умелости.

Шли великие и трудные годы. Поэтом Л. В. Успенский не стал, хотя иной раз впоследствии и выступал со стихами. Кровавая и поэтическая, тяжкая и возвышенная, реальная проза жизни целиком поглотила его.

Л. В. Успенский встретил революцию в последнем классе гимназии. «... Я был долговязым семнадцати-летним юнцом — достаточно взрослым, чтобы живо отзываться на каждое биение пульса истории, достаточно наивным и неосведомленным, чтобы даже в голову мне не пришло в ту туманную и темную питерскую ночь, первой нотой какой неслыханной симфонии окажется выстрел — одиночный выстрел из трехлинейной винтов-

ки, — который (первым!) раскатился над пустыми улицами, над влажными крышами петербургских домов в десятом часу вечера 25 октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Я все же запомнил — ох, как крепко запомнил его! Я стоял тогда на набережной Мойки, у самой Мариинской площади, возле Синего моста. Слева высилось огромное казенное здание. Справа, над решеткой канала, стояла кирпичная башенка с часами, оклеенная лозунгами, плакатами, призывами, вперемежку с афишами и рекламами Российской республики Керенского и Милюкова, и часы показывали 17 минут десятого»¹.

Лев Успенский уже знал тогда цену труду: с шестнадцати лет по принципиальным соображениям (человек должен работать) занимался репетиторством. В 1918 году он поступил в Лесной институт — решение несколько странное для убежденного гуманистара. Но, с одной стороны, в этом сказалась разносторонность интересов юноши — нравилась институтская программа: сочетание биологических предметов с чисто техническими, а с другой, возможно, сама жизнь первых послереволюционных лет властно продиктовала выбор не в пользу лингвистики и литературы. Это уже позднее пришла простая истина, что настоящую службу людям можно сослужить, работая только на самом любимом поприще, занимаясь тем, что всего ближе.

Учение в институте шло с перерывами. В 1920 году Л. Успенский был мобилизован, ушел на фронт гражданской войны, работал топографом при штабе дивизии, был тяжело контужен под Варшавой, попал на врангелевский фронт и вместе с красными частями освобождал Крым.

А сколько профессий переменял Л. В. Успенский в 20-е годы! Писатель насчитывает их более десятка. После демобилизации из армии он — товарищ лесничего, землемер «в маленькой деревне в глуши дремучих северных лесов»², был лектором по биологии, преподавал техническое черчение, позднее пробовал силы как художник Комвуза, работал методистом. Подобно де-

¹ Л. Успенский. Сорок пять. «Ленинградская правда», 1962, 6 ноября.

² «Еж», 1935, № 10, стр. 15.

сяткам своих сверстников, он пришел в литературу, зная жизнь не по книгам. Многие тогда люди испытывали сами на себе, многое умели и поистине не страдали узкой специализацией.

Но с каждым годом становилось все яснее, что самое настоящее призвание, которому нельзя изменить, — это филология. И в 1925 году Л. В. Успенский поступает в Государственный институт истории искусств, где уже учился в это время его младший брат. Из стен этого института вышло много литературной и искусствоведческой интеллигенции Ленинграда: О. Ф. Берггольц и В. Н. Орлов, Т. Ю. Хмельницкая и А. В. Федоров, Н. И. Мордовченко и Л. Я. Гинзбург... Для всех них навсегда памяты дни, проведенные в аудиториях великолепного дома — Zubовского особняка на Исаакиевской площади. Словесное отделение института славилось педагогическими силами. Здесь читали лекции Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, молодой Ю. Тынянов, здесь блистательно начинал свой путь Г. А. Гуковский, тогда едва ли старше, если не моложе своих слушателей. Лингвистические дисциплины вели Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Б. А. Ларин. И хотя сейчас, вспоминая студенческие годы, Лев Васильевич говорит, что литературоведение все больше казалось ему в ту пору алхимией, а лингвистика настоящей наукой, можно предположить, что высокая культура обращения с литературными источниками и тонкое чутье слова, отличающие книги, статьи Л. В. Успенского, — не только от природы, они воспитывались в писателе здесь, в институте.

В конце двадцатых годов состоялись два очень разнохарактерных дебюта Л. В. Успенского в печати. Одним из них была научная статья реферативного характера под названием «Язык революции» — она вошла в студенческий сборник «Пять искусств» (1928 г.). Другим... детективный роман. Некоторое время развиваясь параллельно, впоследствии эти столь различные струи в творческой деятельности писателя успешно дополняют друг друга, гармонически сольются — прежде всего в книгах о приключениях языка.

Роман «Запах лимона» был написан в соавторстве с Львом Александровичем Рубиновым и выпущен харьковским издательством «Космос». На титуле стоял

псевдоним: фамилии авторов частично соединились в коллективном имени Лев Рубус. Авантюрно-детективный дух должен был захватить читателей, начиная с обложки, на которой художник нарисовал чемодан и сыплющиеся из него отмычки. Роман давно стал библиографической редкостью: нет его в Публичной библиотеке, не сберег ни одного экземпляра и автор. Говорят, по читаемости эта книга стояла на одном из первых мест в Ленинграде в 1928 году. Немудрено: ведь все хитросплетения сюжета были связаны с работой контрразведки. Зато журнал «Книга и профсоюзы» отозвался тогда на роман Льва Рубуса короткой рецензией¹, в которой книга оценивалась как «безнадежно плохая», сделанная по определенному рецепту: «очень благородные «красные» и совершенно законченные негодяи «белые», главным образом англичане». «Сюжет до крайности запутан, — писал рецензент, — перегружен зверскими убийствами, погонями, абсолютно неправдоподобными историями»; шпион Брегадзе неуловим — любые проделки сходят ему с рук. В общем, журнал, пропагандировавший на своих страницах произведения Ларисы Рейснер, «Одеты камнем» О. Форш, «Алые сугробы» В. Шишкова, очередной том собрания сочинений Пришвина, не рекомендовал этот роман рабочей аудитории.

В 1930—1932 годах Л. В. Успенский занимался в аспирантуре ГИРКа (Государственный институт речевой культуры), преподавал русский язык в Комвузе под началом С. Г. Бархударова, с увлечением работал в группе Б. А. Ларина над составлением древнерусского словаря.

В это время исподволь идет подготовка, накапливается первый ценный материал для будущих лингвистических книг, о которых тогда Лев Васильевич, вероятно, еще и не думал. Научная и писательская деятельность вначале шли рядом, обособленно одна от другой. А когда оказалось возможным их соединение, это дало, как мы увидим в дальнейшем, интереснейший творческий результат.

¹ Б. Киреев. «Запах лимона». «Книга и профсоюзы», 1928, № 3, стр. 29—30.

ВЫБОР СДЕЛАН

30-е годы — начало постоянной писательской работы Л. В. Успенского, начало систематических выступлений в печати с рассказами, очерками, переводами, позднее — с целыми книгами. Своими читателями он выбирает детей, им рассказывает все те удивительные истории с живыми людьми и... словами, пароходами и самолетами, древними легендарными героями и обыкновенным зверьем.

Лев Васильевич приходит в детские журналы, становится автором «Ежа» («Ежемесячного журнала») и «Чижа» («Чрезвычайно интересного журнала»), рассчитанного на малышей. «Ребята, пионеры первых пятилеток, — вспоминает И. Рахтанов, — прекрасно чувствовали... что в «Еж» и «Чиж» привлечены лучшие, талантливейшие писатели, что иллюстрируют журналы замечательные художники»¹. Так оно и было. Ленинградские детские журналы становились большой школой для каждого, кто приходил сюда. Их душой был С. Я. Маршак, талантливым организатором — Н. М. Олейников. Здесь печатались Чуковский и Шварц, М. Ильин и Житков, Квитко и Г. Белых. Здесь помещал свои поэтические новеллы о природе В. Бианки, позднее выступал М. Зощенко с рассказами грустными и ироническими одновременно. Благородное и очень нужное амплуа взял на себя Н. Заболоцкий — он обработал для детей «Повесть об удивительной жизни Гаргантюа, отца Пантагрюэля» Рабле, и она печаталась в «Еже» из номера в номер за 1934 год. В «Клубе «Ежа» появилось имя И. Эренбурга, который перевел и прислал из Парижа рассказы французских школьников — детей шахтеров, крестьян, рыбаков. Номера журнала иллюстрировали В. Конашевич и Е. Чарушин, А. Пахомов, Н. Тырса, В. Лебедев.

В «Еже» и «Чиже» всегда были рады людям интересным, с выдумкой, своеобразным направлением ума. «Все самое интересное собиралось в редакционной комнате, где всегда было как-то необыкновенно занято, где каждый мог проявить себя с самой неожиданной

¹ И. Рахтанов. Рассказы по памяти. М., «Советский писатель», 1966, стр. 143.

стороны. Неожиданность тогда ценилась превыше всего. Если человек приходил с чем-то своим, не похожим на то, что уже было у соседа, не позаимствованным у кого-то, его сразу же, безо всяких анкет принимали в веселое братство»¹.

Не стоит преувеличивать роли тех литературных выступлений, с которыми связано участие Л. В. Успенского в «Еже» и «Чиже», а также, позднее, в «Костре» и «Пионере». Но, разумеется, свое место на журнальных страницах они заняли, не потерялись среди других материалов. В «Чиже» помещены прекрасные стихи и переводы Маршака, безусловно талантливы молодые поэты... Интересен рассказ Е. Шварца «Чужая девочка»... хороши рассказы Успенского, удачен естественный отдел журнала»², — писал обозреватель «Чижа» за 1936 год А. Серебрянников.

В те годы писатель увлекался летной, авиационно-планерной тематикой (не проходило давнее, еще детское пристрастие). «Орел Николай Петров»³, «Летчик Кравченко»⁴ — назывались его первые рассказы. Вместе с некоторыми другими они составили потом книгу «Кот в самолете» (М.-Л., Детиздат, 1938). Помимо того, что летчики интересовали Л. Успенского как особая порода людей, он стремился в тонкостях постичь их дело (а как устроены машины, на которых теперь летают? Что изменилось с времен Блерио, когда мальчик Лева Успенский буквально «заболел» авиацией?), испытывал к ним и интерес лингвистический — Лев Васильевич писал в это время исследование о языке русских летчиков и пробовал «вживить» кусочки этого исследования в свои рассказы. В общем, все эти аспекты и подходы дружно и откровенно соседствовали в рассказах.

«Летчик Кравченко» начинался интригующе: приехали ребята, видимо корреспонденты из журнала, на аэродром к летчику, обещавшему написать им о своих приключениях, ищут его повсюду. Кругом ангары, самолеты, но самое удивительное не они, а какие-то непонят-

¹И. Рахтанов. Рассказы по памяти. М., «Советский писатель», 1966, стр. 143.

²«Литературный Ленинград», 1936, 5 октября.

³«Чиж», 1934, № 3, стр. 12—14. Этот рассказ Л. Успенский принес в журнал по просьбе Н. В. Гернет.

⁴«Еж», 1934, № 7, стр. 1—5.

ные слова, которыми обмениваются дочка Кравченко и ее приятели мальчишки:

«— Папа? Не знаю. У него один ученик на божьей коровке картошку зарыл; он рассердился и побежал куда-то...»

— Что ты, Валя. Мотористы сказали — он первую группу учит по коробочке ходить. С двух часов до четырех.

— Да нет. Я сейчас сам видел: он во-он из того облака морковкой сыпался. Он сегодня прыгает».

Скоро выясняется, что значат все эти загадочные фразы: «Божья коровка — это маленький самолет, учебный, У-2... А картошку зарыть — это очень плохо. Это значит — опрокинуть на земле самолет кувырком», «по коробочке ходить» — это «над аэродромом летать, подняться, где нужно, сделать круг, какой надо, и сесть там, где нужно», «морковкой сыпаться» — лететь «как камень, носом вниз» (так обыграл здесь Л. Успенский некоторые характерные выражения из авиационного жаргона, который изучал в то время).

Определяется тип рассказа Л. Успенского. Он, как правило, короток. Очень прост по сюжету. Это всего лишь запись со слов бывалого человека.

Рассказчик у Л. Успенского не краснбай, на слова скуп, но глаз у него зоркий — и сравнения в рассказе не отвлеченно-романтические, доступные, бытовые: «Летим и смотрим. Глубоко внизу море. Тут зеленое, как крапива, там серое. Льдины в нем, как клецки в супе, плавают. Чем дальше, тем больше их... Вот наконец зачернелось что-то вдали на белом льду. Будто бутерброд с черной икрой лежит. Минута, другая — и ясно вижу: большое стадо тюленей. Лежат тюлени на льдине, бултыхаются в воду, поднимают усатые морды и лают на самолет».

Интерес к авиации и планеризму, прозвучавший в первых рассказах Л. Успенского, оказался стойким. Писатель использует различные жанры и литературные средства, чтобы заразить своим увлечением ребят. На одном и том же материале он продолжает выступать в журналах то с рассказами, то с небольшими научно-популярными статьями. «Может ли двухместный самолет поднять в воздух не два, а три, пять, двадцать человек?» — таким вопросом начинается заметка «Воздуш-

ный поезд», и следует ответ: «Да, может». Автор рассказывает об интересном опыте присоединения к маленькому самолету, на тросах, многоместных планеров — по типу очень прочного змея¹. Очерк «Воздушный бой»² основан на фактических сведениях о типах самолетов, об их возможностях в сражениях; от рассказа (беллетристического) он уж совсем далек — сопровождается схемой воздушного боя, пояснением специальных терминов в сносках.

Жанр подборки «На чем летали в сказках»³ определить и вовсе трудно. Л. Успенский взял на учет всевозможные летательные средства, которыми пользовались герои русских и западных сказок, приключений, и составил своеобразный музей, куда попала и баба-яга в деревянной ступке, и барон Мюнхаузен, совершивший однажды полет на утках, которые были нанизаны на веревочку, а потом на пушечном ядре, и Сирано де Бержерак из французских сказок с его «авиационным» аппаратом — бутылками с росой. Знакомые сюжеты пересказаны кратко и остроумно.

И снова очерки: о Нестерове⁴ и Чкалове⁵, снова статья, приближающаяся к научной, — о форме, характерной внешности различных самолетов⁶.

В рассказах о человеческих судьбах Л. Успенский бывал в те годы малоэмоционален, суховат, обычно передавал все полномочия рассказчику, невольно освобождая себя от размышлений и откровенных оценок. Рассказ «Два друга»⁷ — он входил позднее в сборники Л. Успенского под названием «Зимородок и ласточка» — посвящен летчикам-героям, которые на своих маленьких самолетах, искусно атакуя фашистский бомбардировщик, заставили его сесть, на нем летали во вражеский тыл и разбомбили там аэродром. Действие происходит в Испании. Повествование ведется от лица американца. Среди его товарищей здесь и француз, и негр, и русские. Но героическая борьба братских интернациональ-

¹ «Еж», 1934, № 12, стр. 31—32.

² «Еж», 1935, № 4, стр. 20—23.

³ «Еж», 1935, № 8, стр. 7—9.

⁴ Летчик Нестеров. «Костер», 1938, № 8, стр. 39—45.

⁵ Из молодых молодец. «Костер», 1936, № 3, стр. 55—61.

⁶ Силуэты самолетов (совместно с Я. Зархи). «Костер», 1937, № 9, стр. 49—51.

⁷ «Костер», 1938, № 12, стр. 40—44.

ных сил не главная тема писателя, она остается в стороне («Не стоит долго объяснять, почему они появились тут, в этой прекрасной, гордой, несчастной, разодранной пополам фашистским мятежом стране...»). Л. Успенского привлекает прежде всего хитроумная, дерзкая смелость двух советских летчиков. Как обычно, он особенно красочен и детален в описании самого воздушного боя.

Тон «летных» рассказов становится несколько иным, интонации теплеют, когда в авиационно-планерные истории вплетается «звериная» тема. С добродушным юмором, чуть лукаво написаны приключения в воздухе мышей и котов, встречи самолетов со стаями птиц, которые делают большую, умную машину чуть ли не бесильной¹. Кто из ребят 30-х годов не знал «Голубого кота»² и, главное, «Хвостатого парашютиста»³, известного позднее под именем «Храбрый мышонок»!

Но и в этих рассказах ясно проступает научно-просветительная задача. Разбился ли мышонок, когда он прыгнул с крыла планера? Наверное, даже точно — ученые все подсчитали — не погиб, потому что шерсть и длинный хвост уподобляют его при падении парашютисту.

Думая о характере рассказов Л. Успенского, я долго искала подходящее определение. Неожиданно оно пришло. В критике 30-х годов сталкиваешься с термином «детская деловая книга» («деловая проза»). Часто его употребляли как синоним научно-популярной литературы. Иногда вкладывали другой (более широкий?) смысл, имели в виду отказ от беллетристичности, своего рода образный аскетизм, служившие одной цели — как можно более четко и достоверно, без околичностей, сообщить факты и сведения из различных наук, политической жизни и т. д. Так, И. Гринберг отмечал в 1936 году, что очерк явно преобладает над рассказом в первых книжках «Костра» (только что открывшегося тогда журнала), что «центр тяжести каждого из номеров составляют произведения того типа, который специалисты называют «детской деловой прозой»⁴.

¹ Страшная птица. «Чиж», 1936, № 2, стр. 4—8.

² «Чиж», 1937, № 8, стр. 4—8.

³ «Чиж», 1936, № 4, стр. 4—9.

⁴ И. Гринберг. Три книжки «Костра». «Литературный Ленинград», 1936, 11 ноября.

В русле такой прозы и работал Л. Успенский. Его рассказы деловиты, они написаны для пользы, с определенной, просветительской целью. И в скольких направлениях идет писатель! Он не ограничивался вариациями на авиационные темы. Судите сами хотя бы по названиям (о литературных достоинствах и художественной долговечности каждого из этих выступлений сейчас нет речи): «Как я в первый раз увидел северное сияние»¹, «Обвал»², «Вулканы»³, «Тайна Бохаз-Кёя»⁴, «Знаешь ли ты карту?» («Антиглобус и Антикарта») ⁵.

В 1935—1940 годах в «Еже», «Костре» и «Пионере» писатель выступил с циклом своеобразных лингвистических рассказов, о которых разговор пойдет впереди, потому что из них, как из первых зерен, начали расти книги Л. В. Успенского о языке. Но тогда, на взгляд читателя 30-х годов, эти рассказы представляли просто еще одну тематическую линию в творчестве неутомимого пропагандиста знаний.

И на самом деле, в его очерках, повестях, статьях встречались, переплетались, соседствовали столь различные интересы, что трудно было определить, какой же главный. Вот он описывает знаменитое сражение у берегов Ютландии 31 мая 1916 года («Скагеррак»⁶) — и ведет повествование так упоенно, словно был очевидцем великой битвы, так скрупулезно-детально, как подлинный специалист по морским боям (рассказ печатался с приложением морских карт, рисунками миноносцев — участников боя). Л. Успенский не устает задавать все новые вопросы, предлагает «загадки» на географические темы. Обложка 7-го номера «Ежа» за 1935 год занята любопытным рисунком — на нем часть географической карты озера Сайма. Объясняя его историю, Л. Успенский пишет: «Точно здесь, по гранитной земле, прошла огромная терка, выцарапала на ней Сайму, карельские озера, Онежское озеро, разодрала на множество островков и шхер северо-западные берега Ладоги и Финского залива. Такая терка действительно

¹ «Чиж», 1938, № 2, стр. 14.

² «Чиж», 1939, № 3, стр. 20—21.

³ «Чиж», 1939, № 9, стр. 26—27.

⁴ «Костер», 1937, № 3, стр. 94—98.

⁵ «Костер», 1936, № 6, стр. 106—107.

⁶ Впервые напечатан в «Костре», 1937, № 10.

работала здесь когда-то. Это был ледник...» Уже первые научно-популярные опыты Л. Успенского отличает умение найти образное, отчетливо видимое сравнение.

Не случайно, что такой человек, как Л. Успенский, оказался в группе энтузиастов, которые организовали в ту пору Дом занимательной науки (он открылся 1 ноября 1935 года). «Нет ленинградца, который не знал бы величественного дворца Шереметевых на Фонтанке — того, где сейчас находится Арктический институт. До войны адрес «Фонтанка, 34» стал для миллионов людей таким же известным, как «Плуталова, 2» (адрес Я. И. Перельмана. — *Н. Б.*)»¹. Красочные афиши на ленинградских улицах «белыми» стихами ставили в известность, приглашали:

Когда в Гоголулу настанет полночь,
в Ленинграде наступает полдень.
В этот час в Ленинграде,
Фонтанка, 34,
ежедневно открываются двери
Дома занимательной науки,
в котором вам расскажут
о времени, о Земле, о небе,
о числах, о цвете, о звуке
и о многом другом.

Душой и вдохновителем этого Дома, с астрономическим отделом, кабинетом занимательной оптики, залом математических развлечений, был политпросветчик, преподаватель философии Виктор Александрович Камский, а мозгом — Яков Исидорович Перельман (прежде всего он), Василий Иосифович Прянишников и Лев Васильевич Успенский.

«Дом занимательной науки был обращен к самым широким массам детей и юношества. Это был не клуб, не лекторий, не группа самодеятельных кружков, а огромный комбинат, в котором искали и находились все новые и новые формы втягивания молодежи в сферу научных интересов... работали десятки разнообразнейших кружков... происходили встречи пионеров с выдающимися учеными страны... организовывались математические и физические олимпиады... ДЗН стал и своеобразным, специализированным издательством, выпуская десятки маленьких книг, рассчитанных на раз-

¹ Л. Разгон. Человек, написавший библиотеку. В кн.: Пути в незнаемое. Сб. 2, М., «Советский писатель», 1962, стр. 414.

витие смекалки, творческой инициативы, научных интересов своих читателей»¹. Перелистывая «Костер» за 1937—1938 годы, видишь в его научно-популярном отделе своеобразный печатный филиал Дома занимательной науки. Вот № 1 за 1937 год: Я. И. Перельман и Л. В. Успенский выступают рядом, — первый предлагает «Честные фокусы. Отгадывание чисел», второй задает читателям вопрос: «Как ваше имя?» — и рассказывает немало интересного по этой части.

Лев Васильевич часто вспоминает Я. И. Перельмана, говорит, что многому у него научился, воспринял в дальнейшем в своих лингвистических книгах перельмановский опыт популяризации. В 1939 году Л. Успенский адресовал Я. И. Перельману шуточное стихотворное послание:

Да и к чему затрата напряженья,
Поскольку существует Перельман,
Под чьим пером — таблица умноженья
Глядит как фантастический роман,
Кто алгеброй и физикой чарует,
Кто силой тяготения манит,
Кто мозгу потрясенному дарует
Хронический недуг — перельманит².

Зараженный и сам этим чудесным недугом, Л. В. Успенский как нельзя кстати пришелся в детских журналах 30-х годов, которые очень горячо ставили перед собой в эту пору широкие образовательные, популяризаторские цели. «Еж» имел «Станцию юннатов», систематически давал справки из истории слов и выражений, советы конструкторам и охотникам, рассказывал о знаменитых художниках. Автором «Карты с приключениями» был Евгений Львович Шварц, он выступал здесь «не как драматург, не как сказочник, а как популяризатор не одной лишь географической науки, но и политики — истории, текущих событий»³.

А Л. В. Успенский ведал научно-популярным отделом «Костра». Астрономические календари, географические кроссворды, статьи о шахматах — чего только еще

¹ Л. Разгон. Человек, написавший библиотеку. В кн.: Пути в незнаемое, стр. 414—415.

² Л. Разгон. Человек, написавший библиотеку. В кн.: Пути в незнаемое, стр. 425.

³ И. Рахтанов. Рассказы по памяти, стр. 22—23.

не было в этом отделе! Клуб «Костра» постоянно собирал ученых, героев труда, заслуженных людей, на страницах журнала можно было встретить имена известного исследователя Арктики В. Ю. Визе, археолога М. Э. Матье, Героя Советского Союза С. Леваневского, В. И. Прянишникова и многих других.

Итак, в 30-е годы Лев Успенский — один из энтузиастов популяризации научных знаний. Вместе с другими литераторами и учеными он ищет наилучшие формы доведения этих знаний до юношества. И его собственные выступления, особенно в первую половину 30-х годов, насыщенные богатейшим материалом, очень разнообразные в жанровом отношении, нужно, видимо, рассматривать не столько как литературное явление, сколько как грань единой большой работы, в которую входило и участие в Доме занимательной науки, и руководство научно-популярным отделом «Костра». «Считаться славою», думать о размерах личного (авторского) вклада в серьезное дело было как-то недосуг — слишком оно поглощало.

Период нащупывания своего пути в литературе длился у Л. Успенского долго.

И все-таки — это чувствуется уже по его выступлениям 30-х годов — писатель. Л. Успенский не мог не прийти со временем к своей книге о науке. «Нужда в познавательных книжках, простых и ясных для ребенка и вместе с тем свободных от вульгаризации и упрощенчества», остро ощущалась в литературе. Все чаще критика писала о «необходимом элементе художественности, органической связи сюжета с познавательным материалом»¹ в таких книжках. Нужно преодолеть, — размышлял А. Беляев, — тенденцию излишнего «утилитаризма», незанимательных научных трактатов в форме диалогов, когда «фабульная художественная сторона находилась в пренебрежении»².

Авторы статей отмечали первые настоящие успехи советской детской литературы в этом направлении: «яркий образец художественной сюжетной энциклопедии»

¹ Л. Кон, Н. Булатов. Мир в капле воды. (О познавательной книжке для детей.) «Детская литература», 1938, № 13, стр. 12.

² А. Беляев. Создадим советскую научную фантастику. «Детская литература», 1938, № 15—16, стр. 2.

дии»¹ — «Что я видел» Б. Житкова, «Приключения Карика и Вали» Я. Ларри, «Вчера и сегодня» С. Маршака.

Движение от «деловой» линии детской научно-познавательной литературы в сторону большей фабульности, увлекательности сюжета постепенно намечается и в творчестве Льва Успенского.

Увлекательна уже сама история появления повести «Купип».

Н. В. Гернет поделилась как-то с Л. В. Успенским мыслью создать в «Чиже» новый отдел, и чтобы заведовал им некто профессор Бабер — энциклопедист, который мог бы ответить на все ребячьи вопросы. Вот бы писателю Успенскому и взять на себя функции этого профессора, статью на некоторое время Бабером, благо отвечать на многочисленные вопросы он давно привык. Лев Васильевич согласился. Однако задуманный отдел в журнале так и не возник. Зато профессор Бабер стал героем повести-шутки, инициатором головокружительно-смелого путешествия, о котором в ней рассказывается. «Купип» передавали по радио, а затем он был напечатан в нескольких номерах «Костра» за 1937 и 1938 годы.

Повесть была задумана и развертывалась как интересная игра, в которой могли участвовать все ребята — читатели «Костра».

В «Начале повести» — под таким названием была напечатана первая глава «Купипа» («Костер», 1937, № 4) — писатель расшифровывал это редкостное слово, означающее Комитет удивительных путешествий и приключений, знакомил с главными деятелями Купипа. В следующем номере журнала, вместо ожидаемой очередной главы, публиковалось «Письмо профессора Бабера», ошеломленного невиданным потоком корреспонденции, которую он получил за последнюю неделю. Шутка ли сказать: решительно все хотят быть членами Комитета удивительных путешествий и приключений! Но разве можно взять с собой в экспедицию 3992 человека? Нужно выбрать достойных. И профессор Бабер прилагает к письму карту, найденную в бумагах его покойного учителя и друга Паганеля, а на ней Остров Паганеля, омываемый с севера океаном Фантазии, с запада — за-

¹ См. статью Л. Кон и Н. Булатова.

ливом Противоречий, с востока — морем Рассеянности. Где же, в каких местах земного шара нашел Паганель эти очертания? Ни сам профессор, ни капитан Койкин, ни даже Устрицын (он проковырял большую дырку на глобусе — и напрасно) не знают. Пусть же самые хитроумные ответят на вопрос — и тогда они станут членами Купипа.

Со следующего, 6-го номера повесть печаталась уже под своим названием, а над текстом первой главы стояло: «Да здравствует мнемоника!» Опять чудеса. Случается вот что: профессор Бабер, полиглот, немножко чудак, в нескольких парах очков (профессор же!), звонит в редакцию, а потом является туда и сам с просьбой немедленно дать справку: «в какой день какого месяца здесь в Ленинградской области длина тени, падающей от предметов в полдень, абсолютно равна длине самого предмета». Бабер явно не туда попал, ему нужно было астрономическое общество, подвела мнемоника — наука о запоминании: чтобы запомнить цифры, подбирай к ним слова, стихи, фразы, поговорки. Но зато маленькая ошибка, нарушенная аналогия — и номер телефона перепутан... Итак, зачем же ему понадобились сведения о тени? Да дело в том, что профессор — председатель Купипа; наклеывается новая интересная экспедиция, она связана с находкой одного документа. Чтобы разгадать тайну, важно знать, какого числа его нашли. Единственное, что запомнил секретарь Купипа Николай Андреич Устрицын, — в тот день, когда было совершено великое открытие, он измерил ровно в полдень свою тень — и в ней оказалось ровно столько сантиметров, сколько в нем самом.

Что за бумажка была найдена? Профессор достал ее, затрепанную, из бумажника. Редактор и автор склонились над ней, и «громкие восклицания сейчас же огласили комнату».

Поддерживая в своих читателях острый интерес, Л. Успенский ставил «Продолжение следует» в самом интригующем месте. Пусть ребята пока подумают, поломают головы. Огромный читательский актив «Костра» становился действующим лицом повести. В журнале печатались «Приказы по Купипу» с предложением участвовать в сочинении купипского купального гимна, изобретении хитроумного нагрудного значка, отмечались

ребята, удачно ответившие на трудные вопросы. Повесть уже кончилась, а в каждом очередном номере журнала можно было найти «Хитроумный Купипский календарь» с филологическими справками о названии каждого месяца и знаменательными географическими датами.

Перепечатанный в сборнике повестей и рассказов Л. Успенского, «Купип» имеет более «причесанный» вид, но и сейчас, в окончательном варианте, повесть сохранила «игровой», задорно-увлекательный характер. Все ее герои — от первоклассника Устрицына до почтенного профессора Бабера — люди дотошные, заядлые, одержимые. Начитавшись Жюль Верна, младшее поколение хочет не просто повторить приключения его персонажей, но добиться еще более необыкновенных результатов, а старшее — в лице Бабера — пытается влить ребячью фантазию в строго научное русло. При этом они очень похожи друг на друга — совсем по-детски увлеченный профессор и профессорски серьезная ребятня.

Расшифровывается записка, извлеченная из бутылки, которую ребята выловили в реке. Половина слов размыта, и все же можно заключить, что в какой-то пещере найден радий, целых полкило, а пещера расположена в том краю, где одновременно водятся ондатры и добывают жемчуг. Что это за страна? Ведь жемчуг в тропиках, а ондатры совсем наоборот — на севере.

Таинственная записка — исходная точка сюжета, причина срочной организации экспедиции по следам писавшего. Путь прокладывает сам Бабер на цельнометаллическом дирижабле-монгольфьере «Купип-01» (штрих времени, 30-х годов, с их чудесами воздухоплавания — дирижаблями!), за ним должны вскоре отправиться и ребята во главе с капитаном Койкиным на лодке «Рикки-Тикки».

Л. Успенский пишет географическую повесть. Развитие действия, определение маршрута купипской экспедиции так или иначе связано с решением целого ряда географических загадок: профессор будет ждать ребят в такой точке земного шара, которая не имеет долготы, и, кстати, там каждый человек становится тяжелее; или — воздушный корабль Купипа должен пролететь вдоль линии, отделяющей понедельник от вторников, пятницы от четвергов и т. д. и т. п. Однако стежки этой научно-познавательной нити, которая скрепляет все при-

ключения, прошивают повествование почти незаметно. Учительная цель перешла в подтекст, внимание писателя сосредоточилось на характерах, в хорошем темпе начал развиваться сюжет — и, естественно, исчезла суховатость, статичность изложения интересного материала, свойственная некоторым ранним опытам Л. Успенского.

За увлекательным, полным опасностей путешествием, которое проходило то у Северного полюса, то в тропиках, с интересом следили и дети и взрослые. Повесть Л. Успенского печаталась одновременно с «Приключениями Карика и Вали». Если герои Я. Ларри, волею случая уменьшившись во много раз, наблюдали Землю, всю ее флору и фауну, как бы под гигантским увеличительным стеклом, то ребята из Купипа увидели ее с большой высоты, ведь только часть пути они совершали на подледной лодке, а потом на помощь путешественникам пришли шары-прыгунчики и дирижабль, попавший под конец в страшный тайфун с молниями. Потеряв все ориентиры, дирижабль был вынесен ветром в неизвестном направлении. И здесь-то взорам экспедиции открылась неведомая страна с богатейшими рыбными ловлями и охотничьим хозяйством, электростанциями и производством алюминия, страна, где добывают жемчуг и разводят ондатру.

До последней главы Л. Успенский держит своих читателей в напряжении и неведении. Достигнута ли цель экспедиции? Не совсем. Радиевый клад не найден, но зато открыт край с жемчугом и ондатрами. При огромном стечении народа профессор Бабер делает доклад о результатах путешествия в главном зале Купипа (кстати, Лев Васильевич готов признать: есть в атмосфере купипского клуба нечто от Дома занимательной науки). И вдруг стройные научные размышления профессора нарушает некий пришелец. Этот молодой человек — автор таинственной записки. И вовсе не о радиостанции в ней, оказывается, шла речь, были другие слова: «радиостанция» и «полкиловатта», — вожатый с пионерами соорудили радиопередатчик и изучали, как радиоволны проходят сквозь землю. Значит, вся романтика поисков, преодоления опасностей была напрасной? Таинственное обернулось вполне объяснимым, необыкновенное — обычным. Во имя чего же написана повесть?

Во имя любопытства к миру и бесстрашия в его изу-

чении, во имя поисков и открытий. Этих высоких слов почти нет в повести, остро приправленной юмором и шутливым снисхождением по отношению к тем, кто явно переборщил в своих ученых догадках. Но этим-то повесть и хороша.

Удивительное рядом — следует вывод. Карта, на которую Бабер нанес очертания богатейшей Страны Сокровищ, висела на заседании вверх ногами. Стоило ее перевернуть, как все сидящие увидели на ней... Ленинградскую область.

«Ввиду того, что экспедицией была найдена Страна Сокровищ, изобилующая жемчугом и ондатрами, но радиий в ней нами еще не был обнаружен, — говорилось на другой день в «Приказе по Купипу № 1», — всем истинным купипцам с наступающим летом заняться изучением и исследованием этой страны со всех интересных точек зрения. Там, где есть ондатры и жемчуг, найдется и радиий и любые другие ценнейшие вещи. Надо только искать»¹.

В «Купипе» определилось ценное качество научно-занимательной прозы Л. Успенского: это веселая и остроумная повесть. Писатель не боится поставить своих героев, даже старших, в смешное, чуточку нелепое положение. Бабер — рассеян, чудаковат, старый морской волк Койкин — симпатичный хвостун, сопровождающая экспедицию Мама — суетлива, порой наивна. Но все это славные, душевные люди, без них одним ребятам никогда бы не стать участниками чудесных открытий.

Смешинки то и дело вспыхивают в повести. Вспомним хотя бы «Звонкологическую таблицу» на дверях профессора Бабера:

Просят звонить:

Почтальонов — два раза громко и продолжительно,
один раз тихо и коротко.

Ученых — семь раз громко.

Милиционеров — три раза коротко.

Ребят — непрерывно, пока не откроют.

Гостей — один раз неуверенно.

Членов Купипа — стучать в дверь коленом.

А фамилии героев, несущие в себе заряд юмора (Устрицын, Койкин)! Или неологизмы, что сами собой

¹ Л. Успенский. Повести и рассказы. Л., «Дет. лит.», 1965, стр. 411.

родились во время купипской экспедиции: «ребятовож-
дение» и «прыгунчикоплавание»; авторские сравнения,
типа «серый, как спина бегемота, бетон Купипской при-
стани»; клятвы Койкина — исключительно словами мор-
ского обихода, без разбора, лишь бы начинались одной
буквой, клятвы «кабестаном, кабельтовым и коком»,
«трапом, тросом и тендером», «шпилем, швартовым и
шпангоутом»... Словом, изобретательно на разные
лады: и поворотами сюжета, и озорной стилевой мо-
заикой повести — Л. Успенский веселит своих читателей
(ведь трудная дорога становится куда легче, если взять
с собой шутку и смех), именно веселит, а не просто
развлекает, потому что разнообразные остроты помо-
гают, в конечном счете, выявлению серьезных мыслей,
распутыванию непростых географических узлов.

Динамичный ритм повести поддерживается песней —
бодрым купипским гимном, который обрастает в пути
все новыми куплетами:

Не найдете нигде,
На земле и в воде,
Драгоценней обычая нашего:
Не скучать, не ворчать,
Узнавать, изучать,
Обо всем непонятном расспрашивать!
Кто записан в Купип,
Не хандри, не глупи,
Путешествуй по миру без устали.
Не скучай, не зевай,
Изучай, узнавай,
Чтоб на деле сравняться с мангустами!
Рикки-тикки-тикки,
Рикки-тикки-тикки-чк!

В свое время композитор Наталия Леви написала
музыку на эти слова. Не претендуя на общезначимость
и широкое исполнение, купипский гимн, вместе с тем,
перекликался по общему настроению с песнями тех
лет — о «веселом ветре», о дружных и задорных, кото-
рые спешат «в далекие края...»

МЕРИДИАН, У КОТОРОГО БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ

Те, кто внимательно читал «Купип», наверное, по-
мянут, что полет профессора Бабера на дирижабле-мон-
гольфьере начался из Пулкова. Профессор рассказывал

потом, как направил свой «Купип-01» через точку пересечения нулевого Пулковского меридиана и шестидесятой параллели.

Повесть еще печаталась в «Костре», когда на этих самых местах, и в частности на Пулковских высотах, начинало разворачиваться действие уже не «географического» опуса, где все вымысел, а большого исторического романа Л. Успенского.

Писатель выступил еще в одном, новом для него жанре.

Обстоятельства, при которых возник замысел романа, были вот какие. К «Пулковскому меридиану» Л. Успенского привел, в общем-то, случай. Однажды, рассказывал писатель, раздался звонок из Детгиза: есть рукопись полковника Г. Н. Караева о путешествии мальчика по Карелии, не возьмется ли Лев Васильевич ее отрецензировать. Отзыв получился критичным, но, видимо, убедительным. Во всяком случае, спустя год Л. В. Успенский с удивлением узнал все из того же издательства, что Г. Н. Караев, предложивший туда цикл рассказов из эпохи гражданской войны — о наступлении Юденича и обороне Петрограда, хотел бы, поскольку он не профессиональный литератор, поработать над рассказами вместе с Львом Успенским.

Будущие соавторы встретились и пришли к единодушному выводу: материал настолько грандиозен, что в цикле рассказов ему не разместиться — нужно писать роман.

Правда, один рассказ все-таки был: «Тимкина тропа»¹ — о том, как деревенский паренек вывел по узкой тропке среди болота, только ему да отцу известной, красный отряд в тыл к белым. Близкие ситуации есть и в романе. Одной из главных стала в нем мысль о единстве всего трудового народа, вставшего на борьбу с контрреволюцией, мысль, которая в рассказе выражена прямолинейно. «...Надеюсь, скоро выгоним врагов с родной Советской земли, — пишет командир полка комбригу. — Да и как не выгнать, если весь народ за нас, если даже десятилетние мальчишки нам помогают и как помогают».

В творческом союзе двух авторов военный историк

¹ «Чиж», 1939, № 10, стр. 2—6.

Георгий Николаевич Караев выступал как прекрасный знаток событий, о которых предстояло писать¹. Вот например, вспоминает сейчас Л. В. Успенский, Вова Гамалей, удрав из-под бдительного ока деда и няньки, 23 октября 1919 года, в разгар Пулковского сражения, должен забраться на крышу обсерватории и наблюдать оттуда бой. Что он увидит справа и слева, как развернутся события в центре открывшейся ему картины? Исчерпывающие ответы на все вопросы давал Г. Н. Караев. В результате — достовернейшее описание: «Солнце, проглянувшее между туч, осветило смутное, затянутое дымом пространство. Впереди, прямо на юге, Вова увидел три или четыре пожара сразу. Черный и бурый дым клубился над Венерязями. Там, где была раньше деревня Новые Сузи, откуда носили, бывало, козье молоко, осталось теперь косматое облако серого пара..

Целые тучи гари всплывали вверх над Александровской, над Детскосельским парком; сквозь них проступала только опушка его. Совсем далеко влево был еще один очажок огня и дыма: это дымилась Московская Славянка. От Красного Села слышались непрерывная канонада, гул, тяжелые сотрясения...»² Цитировать можно еще и еще. Картина как на ладони, и каждая деталь в ней выверена точно.

Кстати сказать, абсолютно с природы выполнены в романе и все описания местности. Книга могла служить хорошим ориентиром по районам боев гражданской войны — и служила. Л. В. Успенский рассказал такой эпизод. Вскоре после снятия блокады Ленинграда приехали они с Г. Н. Караевым в Лугу (уже занимались тогда продолжением «Пулковского меридиана»), ждали приема секретаря лужского райкома, собрались ждать долго, но, узнав, что здесь Караев и Успенский, секретарь обрадованно вышел навстречу, обнял, как старых друзей. Ведь когда в 1941 году, накануне отъезда в оккупированный Лужский район на партизанскую работу, он пришел на консультацию в Смольный и спросил, нет ли

¹ См. также отдельные выступления Г. Н. Караева в «Костре»: «Собирайте материалы по истории гражданской войны» (1938, № 7); «На Колчака (из воспоминаний)» (1939, № 2) и др.

² Г. Караев, Л. Успенский. Пулковский меридиан. Изд. 3-е, переработ. и доп. М., 1955, стр. 536. Роман цитируется в дальнейшем по этому изданию, страницы указываются в тексте.

каких-нибудь пособий по местности, где ему предстояло бить гитлеровцев, ему ответили, что нет, разве только роман «Пулковский меридиан». И как помогла эта книга, особенно подробное описание Корповских пещер. Этими пещерами хорошо воспользовались партизаны во время Великой Отечественной войны.

Но вернемся к картине боя. По характеру своему она панорамна. Романом-панорамой хочется назвать весь «Пулковский меридиан». Он намного простирается в ширину и вглубь. Действующих лиц масса, среди них есть и исторически известные, и вымышленные, кто-то появившийся бегло, уже полузабытый, возникает снова, страниц через сто, и обстоятельства нашей первой встречи с ним авторы вынуждены напоминать.

Трудно сказать, что означал «Пулковский меридиан» для читателей в конце 30-х годов, но сейчас перед книгой стоишь, как перед застекленной панорамой, — она подобна слепку далеких, славных событий, этим интересна, но безгласна. Многие фигуры, повернутые к нам вполоборота, так и застыли в этих позах — разглядеть их уже не удастся.

Чем же объясняется подобное впечатление? Думаю, что «Пулковский меридиан», не раз переизданный, принесший Л. В. Успенскому большую известность еще в 30-е годы, все-таки не был и не стал его книгой, в которой бы высказались и воплотились сокровенные мысли, самые главные знания писателя о мире, о людях, о времени, которому он был сопричастен.

Возможно, «виноват» сам жизненный, исторический материал, иными словами, не совсем органичной для Л. Успенского была тема гражданской войны. К ее эпизодам писатель обращался также и в «Четырех боевых случаях» (М.—Л., Детгиз, 1938) и позднее — в «Павлике-фанфаристе» (М.—Л., Детгиз, 1941), но эти рассказы заметного художественного интереса не представляют. А может быть, причина другая: в «Пулковском меридиане» нет своего осмысления истории, собственной концепции событий. Впрочем, вина ли это авторов?

Обнаружить минусы произведения дает нам возможность нынешнее время с его высоким уровнем аналитического исследования истории, многочисленными документальными материалами о том периоде, опубликованными в последние годы.

Не умаляя серьезных достоинств романа, нужно отметить, что слабее всего в нем собственно исторические рассуждения и главы. «Действие... разворачивается, — говорилось во вступительной заметке к отрывкам из «Пулковского меридиана», — летом и осенью 1919 года, в те дни, когда белый генерал Юденич в близком сотрудничестве с иностранными интервентами, вдохновляемый и поддерживаемый Англией и Францией, дважды пытался захватить первый город Октябрьской революции, Красный Питер»¹. Роман вышел в 1939 году, к 20-й годовщине обороны Петрограда, он возвращал читателей к тем временам, когда «страна была изрезана красными и черными шрамами фронтов»².

В «Пулковском меридиане» возникает как бы чересполосица общих военно-исторических размышлений и сцен с конкретными людьми, героями книги. Собственно исторические главы прослаивают повествование, а порой даже разрывают его. Здесь и язык романа, образный, натуральный, как-то высыхает, мертвеет, неизбежно появляются штампы («хозяева белых сатрапов», «полуголодный Питер протягивал фронту руку крепкой помощи» и т. д.).

Эти главы насчитывают не так уж много страниц каждая, но кажутся непомерно длинными, — они переполнены военной информацией, историческими сведениями, с этих страниц исчезают люди, деятели истории, защиты Питера, борьбы с белыми — живые персонажи романа, словно присутствовать здесь они не имеют права.

Рецензент «Пулковского меридиана» образно писал в 1941 году, что в романе много «военно-исторического клея, которым скреплены между собой отдельные художественные картины», встречаются просто сводки исторического материала, «все это придает книге характер не столько романа, сколько исторической монографии, проиллюстрированной кусками художественной прозы»³.

Но дело не только в жанровой расплывчатости книги. Противоречиво оценивается роль простых людей — ра-

¹ «Костер», 1939, № 10, стр. 9.

² Там же, см. «Книжную полку» с аннотацией на роман (обложка).

³ Г. Блок. [Рец. на роман Г. Караева и Л. Успенского]. «Звезда», 1941, № 1, стр. 163.

бочих, солдат, моряков (Федченко, Зубковых, Лепечевых) — в исторических событиях. Авторы не берутся писать историю только на их судьбах, только в их биографиях воплощать, отливать ее, из их размышлений выводить оценки момента, преимущественно их глазами смотреть на происходящее.

В своего рода философских отступлениях, где не раз возникает вопрос, а как представляются сражения гражданской войны сегодняшним историкам и каковы они были на деле, для самих участников, звучит: «*В малом, как небо в капле воды, отражалось великое*» (стр. 263). Но этот тезис, к сожалению, не всегда находит подтверждение в композиции книги, в распределении материала по главам.

Однако, так или иначе, «Пулковский меридиан» вливался в ряды произведений о гражданской войне. Эта тема была очень актуальной для советской литературы 30-х годов, но детская и юношеская проза, хотя и имела уже в своем активе «Школу» Гайдара, в целом не могла соревноваться на этом участке с большой, взрослой прозой (в это время выходят заключительные части эпосов А. Толстого — «Хождение по мукам», Шолохова — «Тихий Дон»). И в ожидании, пока появятся новые, адресованные детям, произведения на этом материале, специальными изданиями, в сокращении, выпускались «Чапаев» и «Мятеж», отдельные главы «Разгрома».

Детская литература испытывала явную нужду в характерах крупных, значительных. Термином «безгеройность» пестрели многие выступления в газетах и журналах. О «безгеройности» дискутировали, размышляли над путями ее преодоления. И естественно, связывали появление героических персонажей в детской прозе с обращением писателей к определенным эпохам, гражданской войне в особенности. Об этом писала Ольга Берггольц в статье «За героинку в детской книге»¹ и авторы многих других статей.

«Чиж», «Костер», «Пионер» печатали воспоминания бывалых людей, боевых командиров 1918—1919 годов. Появляются рассказы из этой эпохи Ю. Германа, Н. Григорьева и др. Большое полотно Г. Караева и

¹ «Литературный Ленинград», 1936, 11 ноября.

Л. Успенского выглядит на фоне этих произведений солидно и фундаментально, обладает преимуществом картины цельной и всесторонней.

В романе вырисовывается коллективный образ революционного народа, который поднялся отстаивать завоеванное в 1917 году. Резко контрастны по настроению, темпу сцены, изображающие жизнь и борьбу питерских рабочих, корповских партизан, интеллигентов — сторонников революции и, с другой стороны, рисующие быт, тайные замыслы белых «осколков».

На стороне защитников революции — душевное здоровье, исключительная жизнеспособность. Запоминается, к примеру, описание боя при Копорском замке, девятнадцатилетний пулеметчик Вася Федченко, которому доверяют командование взводом, которого слушают: он — партиец, больше знает, дальше других видит. Одна из самых удачных в книге, динамичных, напряженных сцен — побег комиссара Павла Лепечева из-под расстрела белых (спасся один из двухсот пленных!).

А от ветшающей роскоши когда-то богатых петербургских квартир, где встречаются заговорщики-контрреволюционеры, несет тленом. Наполовину мертвы и они сами, Владимир Щегловитов, Лиз Трейфельд, Владек Щенновский. Захлебывающаяся ненависть к большевикам, слезы о царе, напыщенные речи об отечестве — где-то на грани истерики. Жалкие, растерянные, злые друг на друга — так они выглядят в конце романа.

Самая яркая — по тому, как она выписана — и светлая по тональности линия романа связана с темой детства. Она-то прежде всего и обращает книгу к юной читательской аудитории. «Детские» главы «Пулковского меридиана» близки повести Катаева «Белеет парус одинокий», некоторым страницам «Двух капитанов». Вышедшие примерно в одно время, эти книги повествовали о детстве, жестко и по-своему прекрасно вписанном в свою эпоху.

«Тема революции в этой поэтичнейшей из книг советского художника, — рассуждает критик о повести Катаева, — неразрывно переплетается с темой юности, первого познания мира»¹. Собственно, такое же пере-

¹ Л. Скориню. Писатель и его время. М., «Сов. писатель», 1965, стр. 269.

плетение можно видеть и в «Пулковском меридиане». Братски дружат профессорский внук Вова Гамалей, не по летам серьезный и вместе с тем немного наивный, жадно и чуточку восторженно вбирающий жизнь с ее резкими переменами, кровавой борьбой, — и Женя Федченко, паренек из потомственной рабочей семьи, который не просто наблюдает события, но непосредственно участвует в них и даже, как помним, становится жертвой английского шпиона Дорнана Блэра (ведь Женя для шпионских действий помеха). И эта дружба олицетворяет собой единство всего самого молодого на молодой земле. Для этих мальчиков нет классовых различий, груза прошлого. Время лепит юных решительно и скоро.

Пара Женя Федченко — Вова Гамалей немного напоминает другую: Гаврика и Петю из «Паруса». Один, постарше да и жизнь знает лучше, покровительствует другому, более нежному, хрупкому интеллигенту. По словам писателя, этот союз имеет под собой отдаленную автобиографическую основу: в Жене Федченко есть что-то от первого друга Льва Васильевича, деревенского паренька Васи Петрова, воспитывавшегося вместе с другими ребятами в семье Успенских. А Вова Гамалей больше напоминает не Льва Успенского, каким он был в детстве, а его брата, очень тихого, беленького, очкастого мальчика.

Встречи друзей, их прогулки увлекательны, романтичны. Красоты и таинств исполнено первое дальнейшее путешествие Фенечки, Женной сестры, к Корповским пещерам. Но детские игры ни на минуту не отъединяются от времени, тревожного и боевого. Ребята оказываются в гуще событий. У Корповских пещер суждено разыгаться серьезному эпизоду гражданской войны. Таинственный человек, по следу которого вот уже сколько времени идет Вова, оказывается дальним родственником Гамалеев, опасным преступником Николаем Трейфельдом. Вова помогает его разоблачению.

С «детской» темой входит в роман остро-приключенческий элемент. Уже отмечалось, что книга местами построена по образцу авантюрного романа; в угоду таинственности одни действующие лица долго не появляются, другие исчезают бесследно¹. Но интригующее, увле-

¹ См. указ. рец. Г. Блока.

кательно-таинственное в романе, как правило, социально значимо, наполнено политическим содержанием. Тайна его происхождения долго преследует Вову Гамалея. Но вот, наконец, она раскрыта, и становится ясно, что правда о родителях Вовы — казненном царском правительством отце и матери-революционерке — источник драмы старого ученого Петра Аполлоновича Гамалея, а сама эта драма так характерна для жизни России в начале XX века, для судеб русской интеллигенции.

Если некоторые персонажи романа обрисованы четко, детально и все-таки как-то безлично, этого не скажешь о старом Гамалее. На его стороне нескрываемая авторская симпатия. Л. Успенскому дороги такие люди, совесть русской интеллигенции. Бескорыстие, честное служение истине (всякий, «кто хочет из науки себе шубу сшить», противен Гамалею), высокое нравственное чувство были характерны для среды, в которой вырос писатель, а потому образ ученого представляется в известной мере автобиографическим.

Петр Аполлонович Гамалей, чье отношение к революции и марксизму достаточно сложно — революция отняла у него сына, — проходит в романе путь от ворчливо, нарочито декларируемого аполитизма до принятия новой власти. Этому помогает невольнo и внук, который уже спросил напрямик: «А за кого ты, дедушка?» — и, безусловно, спросит еще, помогает и объективный ход событий. Сердце оттаивает, когда, к удивлению профессора, оказывается, что революции есть дело до его ценнейшей астрономической аппаратуры, о ней помнят, ее хотят во что бы то ни стало сберечь в самом пекле Пулковского сражения.

Вероятно, есть в этом образе дань традиции — вспоминается и профессор Полежаев из «Беспокойной старости» Рахманова, и, отчасти, лаврениевский Берсенеv («Разлом»). Да и в творчестве Л. Успенского в конце 30-х годов складывается такой устойчивый тип ученого, всезнающего, знаменитого, немножко капризного и свое нравного, неумелого в быту. У них даже манера говорить и сердиться похожая. Петр Аполлонович Гамалей, так же как профессор Бабер или Михаил Николаевич Нелединский-Мелецкий («Блохолов»), — разновидность этого типа.

При всех оговорках, Гамалей из «Пулковского ме-

ридиана» интересен не только как «носитель» существенной темы романа (приобщение к революции лучших, честнейших из среды ученых), но и как образ, несущий на себе заметную печать отношения писателя. И оно, это отношение, не просто декларируется, проговаривается, но сквозит в каких-то деталях, подробностях, интонации речей героя (причем в данном случае оправдана и витиеватость иных высказываний Петра Аполлоновича, и длиннота, и сложный ход мыслей: ведь Гамалей — ученый).

Автор скупо заявляет о себе в повествовании. Но зато страницы, где это случается, лучшие в книге: голос очевидца, современника событий доходит до нас и подлинностью своей волнует.

С любовью и знанием каждого куста, каждого дерева выполнены деревенские пейзажи. Л. Успенский словно отдает некогда взятое, впитанное душой северному краю, который его вырастил. Перестали быть заповедными лужские тропы. И сюда пришла гражданская война.

Но особенно достоверно, с щемящей точностью пережитого запечатлелись черты тех больших лет в описаниях Петрограда. Вот он, голодный, полупустой — весной 1919 года: «В городе, особенно к вечеру, особенно в центре, было тихо; так тихо, как в каком-нибудь музее. По рельсам не грохотали трамваи. По мостовой не дребезжали дроги ломовиков. Редкие прохожие шли неторопливо и задумчиво; они часто останавливались, переводили дух, отдыхали... На ногах у некоторых были надеты вместо обуви деревянные дощечки, сандалии, хитро прикрепленные к ступне тоненькими ремешками. Можно было тогда, став на перекрестке каких-нибудь путей — ну, скажем, у Пяти Углов, — простоять там полчаса и пропустить мимо себя не больше десятка пешеходов. Пройдет такой гражданин, и долго между домами раздастся по пустой улице сухое пошлепывание деревянных подметок по каменным плитам». Слабый ветерок «трогает по стенам плохо приклеенные листки афиш, газет. Словно он с любопытством, не веря сам себе, читает на них никогда не звучавшие в этих стенах новые, неслыханные слова: «Все на защиту революционного Питера!» Ветер шевелит эти бумажные лепестки, точно языки холодного огня...»

Оставляя классические петербургские магистрали, Л. Успенский следует за своими героями на окраины города. Здесь настоящий рабочий Питер. Пусть неказисты его старые улочки, «заборы, огороды, деревянные, проваливающиеся под ногами мостки, наклонившиеся тот вправо, этот влево деревянные столбы керосино-калильных фонарей» — суровой поэзией девятнадцатого года овеяны и эти места. С «Пулковского меридиана» входит в творчество Л. Успенского образ нашего города, точнейшие приметы его облика, вечные во все времена, и такие, что проступают лишь в определенный час истории.

Многие пейзажи в романе по-настоящему исповедны. А вот другие средства и возможности рассказать о времени от первого лица писатель еще не нашел. Частицу своей биографии, некоторые мысли он передал в книге Левушке Жерве, вчерашнему студенту, ныне красноармейцу, который с ранней юности наметил себе цель стать «летописцем великих дней»¹. Но этот образ эпизодический, не рупор автора, не двойник его. Сам же писатель по большей части скрыт за кулисами повествования, своего присутствия не выдает. И именно этим, как мне кажется, — острой нехваткой авторского «я», можно объяснить, в конечном счете, чувство известной неудовлетворенности, с которым закрывает «Пулковский меридиан» сегодняшний читатель, ждущий от книги о тех великих днях чего-то большего, нежели только цепко-увлекательного сюжета.

Стезя исторического романиста оказалась нелегкой и скорых побед не обещала. Незадолго до войны Л. Успенский закончил большую эпопею «Девятьсот шестнадцатый год» (50 печатных листов). Роман был начат еще в 1933 году. Два отрывка из него были напечатаны в 1938 году в журналах «Красноармеец. Краснофлотец» и «Смена». Предполагалось, что целиком все произведение появится в журнале «Литературный современник». Затем было предпринято отдельное издание романа, доведено до верстки, которую Лев Васильевич бережно хранит, — дальше этого дело не пошло.

¹ Ср. рассказ о Льве Жерве в «Пулковском меридиане» (стр. 382) и главу «Чаша небожителей» из автобиографического очерка «Лукоморье».

Судя по отзыву А. А. Фадеева — в 1944 году он прочитал рукопись, — роман представлял большой интерес прежде всего своим материалом, который великолепно знаком писателю и талантливо подан: «...картины жизни России в год накануне февраля и Октября, жизнь и быт буржуазно-дворянского общества, крестьянства, рабочего класса, фронт и тыл, работа партии большевиков, иностранная разведка в России, происки иностранного капитала, солдаты и офицеры... царский двор, дума, первые русские авиаторы, знаменитый Ютландский морской бой, намечены контуры брусиловской эпопеи...»¹

«1916 год», таким образом, по времени предшествовал «Пулковскому меридиану». Некоторые действующие лица были в этих произведениях общими. Так, в неопубликованном романе имел место подробный рассказ и о доме Жерве, и о рабочей семье Федченко. Детям «1916 год», по-видимому, никак не предназначался; отдельные замечания А. А. Фадеева также об этом свидетельствуют.

Эпопея до нынешних дней не издана. Если вчитаться в ее краткий, но густой тематический конспект, составленный Фадеевым, можно видеть, что иные эпизоды, исторические ситуации, пласты материала стали основой очерков, рассказов Л. Успенского, разошлись по выступлениям познавательного-информационного плана.

Судьба большого труда, по каким-то причинам не напечатанного, всегда горька для писателя, тем более, что Л. Успенский считает это произведение очень важным этапом в своей творческой биографии.

ВОЙНА

Война пришла совсем не такая, какую представлял себе когда-то «военный корреспондент»-гимназист, воображавший будущие сражения. Она обрушилась жестоко, много тяжелее, кровавее, чем ожидали, вернее, чем принято было думать.

¹ А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Сов. писатель», 1957, стр. 820—821.

«Все переменялось вокруг нас и в нас самих, — вспоминает писатель те первые дни. — Небо и земля, оставшись теми же, что накануне, стали вдруг иными, неизвестными, тревожными. Лица людей преобразились, точно их осветило далекое зарево — то ли отблеск грядущих испытаний, то ли еще еле угадываемое сияние победы...»¹

Ленинградские писатели, люди самого мирного склада: Л. Пантелеев, Л. Рахманов, В. Орлов — надели военные шинели. Многие из тех, с кем учился Л. Успенский, с кем начал выступать в литературе, в конце 30-х годов уехали из Ленинграда. Коренной петербуржец-ленинградец этого для себя не мыслил, и когда пробил час, был рядом со своим городом в его беде, в его борьбе.

Предварительно он был аттестован по флоту как интендант третьего ранга. Теперь место службы невольно определилось по «Пулковскому меридиану». Начитанный политрук, вспомнив, что действие романа происходит на Красной горке, направил Успенского на форты, в Ижорский укрепленный район. «Вам виднее, — сказал политрук Белых, — но я бы не отказался через двадцать пять лет поглядеть на места, о которых роман писал... Правда, горячих боевых действий я вам там гарантировать не могу, но как-никак Кронштадт, морские ворота Питера...»²

Сама жизнь диктовала продолжение «Пулковского меридиана», и с первых дней войны Л. В. Успенский начал сбор материала для новой большой книги. Постепенно откладывались незабываемые впечатления: ленинградское лето 1941 года, фронтовые будни Лукоморья... Осенью 1942 года с Большой земли, из Костромской области, куда была эвакуирована Военно-транспортная академия, на кронштадтские береговые посты к Л. В. Успенскому переправился катером Г. Н. Караев. Он привез точные сведения о событиях Отечественной войны в тех местах, где, помимо Ленинграда и кронштадтских постов, должно было развернуться действие нового романа.

Но книга была еще впереди. Сегодня писатель жил бок о бок с кем-то из будущих своих героев. Сегодня

¹ Сб. «Рядом с героями», стр. 211.

² Сб. «Рядом с героями», стр. 215.

шла война, и он делал все, что мог, для победы, для облегчения участи родного города, замкнутого в кольце блокады.

«Я работал в газете («Боевой залп». — Н. Б.)... работал не за страх, а за совесть, с непередаваемым наслаждением. Я писал и рассказы, и стихи; статьи о войнах прошлого и статьи о том, как надо добывать весной в лесу витаминозный, но для меня пахнувший детством и апрельским легким морозцем, голубоватый, чуть флуоресцирующий, чуть сладковатый и капельку кисловатый березовый сок...»¹

Как и в 30-е годы — нет, конечно, совсем по-другому! — писательство было теперь для Успенского частью большого целого, куда входили и поездки на передовую с выступлениями (вот когда пригодилась для бесед с молодыми бойцами эрудиция писателя и его немалый уже к этому времени жизненный опыт!), и обзоры немецких писем, подобранных на полях только что отгремевших сражений, и работа в редакции — всякая, включая, если требовалось, изготовление карикатур для очередного номера газеты.

На войне Лев Васильевич, как и многие его собратья по перу, работал много, изо дня в день. Таким он остался в памяти Николая Корнеевича Чуковского — эту дружбу подарила обоим война. «Он сидел за столом перед выбитым окном, в тулупе, чтобы не мерзнуть, и работал, — вспоминал Н. К. Чуковский о первой их встрече осенью 1942 года в Лебяжьем. — Это был рослый, плечистый, широколицый человек с седой головой. Клубы голубого табачного дыма плавали вокруг него. Машинка у него была очень старая, большая, тяжелая, вся будто из какой-то облезлой и помятой жести. Эту громоздкую, полуразвалившуюся машинку он всю войну при всех переездах таскал с собою — она легко, ловко и привычно помещалась у него под мышкой. Из вонючего своего тулупа он тоже почти никогда не вылезал — разве только в середине лета. Я немало прожил с ним вместе, и таким он запомнился мне навсегда — в тулупе, бьющий по клавишам пишущей машинки большими, крестьянскими, желтыми от табака пальцами»².

¹ Сб. «Рядом с героями», стр. 237.

² Н. Чуковский. В осаде. Из воспоминаний. «Юность», 1936, № 1, стр. 90.

А с какими замечательными беседами выступал Л. В. Успенский перед бойцами, матросами бронепоезда «Балтиец»! (Работа писателя на «Балтийце» была отмечена орденом Красной Звезды.) Комиссар бронепоезда Л. Л. Аблин вспоминал, что после бесед Льва Васильевича с воинами не нужно было проводить политинформаций. Разговаривая с бойцами, Л. Успенский поверял им и свои замыслы.

Рядовыми советской прозы выступали в начале Великой Отечественной войны очерк, рассказ, короткая повесть. Они первыми шли в сражение, прокладывали путь большим жанрам, готовили основание для будущих эпопей. Скромные, внешне непритязательные рассказы Л. Успенского были среди них.

Воздадим же им должное, невыдуманное, написанное с суровой простотой, близким к обычной военной корреспонденции. Созданные в первые месяцы войны, они далеко не всегда были в силах философски осмыслить происходящее. Они ценны точной, цепкой фиксацией событий, больших и малых, подробностей, деталей, без которых нет общей картины Великой Отечественной войны.

Позднее Л. Успенский собрал свои рассказы в нескольких книжках, вышедших одна за другой: «Рассказы о невозможном» (1942), «Скобать» (1943), «Рассказы» (1944).

Вряд ли приходится говорить о специфически «детской» направленности их, хотя иные из этих рассказов печатались в «Костре» и «Пионере». Правда коротких былей Л. Успенского носила всеобщий характер, была доступна каждому, писатель не адаптировал ее в расчете на возраст.

В подлинности описанных событий и людей нельзя сомневаться. Ремонт орудия в небывало короткие сроки — и выстрел точно по цели на расстоянии, с которого, по всем законам науки, невозможно достичь врага («Ветер, песок, геометрия»). Скромный героизм политрука Ковалева: трое суток подряд, четыре раза водил он бойцов во вражеский тыл, превозмогая сильнейшую боль, выдавая сквозное пулевое ранение ноги за «потертость» («Потертость»). Самоотверженность воспитанника разведотряда 15-летнего Бори Волкова, который прополз через зону смерти — минное поле и проложил путь

бойцам, обозначив его белыми клочками «Комсомольской правды» («Волчонок»). Все это было, случилось на глазах писателя. Как рефрен, переходит из рассказа в рассказ: «Нет, это невозможно...» — о том, что уже сделано, выполнено, осуществилось, вопреки всему стало возможным.

Перед нами один из участков большой и тяжелой войны, один из ее плацдармов — Лебяженская республика, где начинал свою фронтовую жизнь Л. Успенский. Но только спустя много лет писатель поведал о военных буднях Лукоморья непосредственно от первого лица. А вот в новеллах военных лет часто именно рассказчику, человеку бывалому, снайперу ли, боевому ли командиру, доверено повествование. И снова, как это случилось в 30-е годы, фигура рассказчика, с его, я бы сказала, повышенной характерностью, своеобразными словечками и прибаутками, несколько загораживает главный объект повествования, рассредоточивает внимание читателя. Насколько лучше, когда рассказчик не придумывается, когда «я» — это сам автор.

А может быть, Л. Успенский старался выбрать рассказчика, что называется, вровень основным персонажам, такого же незамысловатого внешне, не спорого на обобщения, самого обыкновенного? В рассказах Л. Успенского действуют люди, которые не замечают своего героизма, не рассуждают о нем. «Нельзя не писать о таких людях, — размышлял писатель недавно, — сами они про себя ничего не пишут, а их делами живы мы все, жива наша страна, живет мир... Давно стало общим местом, что русский человек, русский воин совершает подвиги, но сам не говорит о них. Это известно еще со дней Максима Максимыча и капитана Тушина. История войн гражданской и Отечественной доказали нам, что черта эта свойственна и советскому человеку»¹.

Из такой именно породы командир Ковалев и капитан-лейтенант Савич, политрук Вальде, старшина Габов. И, конечно, колоритный Иван Журавлев («Скобарь»), наивный и смекалистый, натура необъезженная, «лешак-печорец», партизан, ставший в своей краснофлотской части отличным десантником.

¹ Л. Успенский. Герои Ленфронта. «Литературная газета», 1965, 10 июля.

Суровая фронтовая жизнь, о которой они написаны, сообщила многим рассказам Л. Успенского небеллетристическую четкость стиля. Иногда рассказ приближается к военному донесению, лаконичному и обстоятельному одновременно: «...как это бывает, случилось непредвиденное.

Во-первых, небо к двадцати трем часам затянула ровная мгла; спустился холодноватый морской туман; остро запахло влажной солью и гнилью. Звезды скрылись. Солнце не показалось даже и к утру.

Во-вторых, немецкие осветительные ракеты, вначале непрерывно и назойливо, чуть ли не поминутно трепетавшие над линией фронта, внезапно прекратили свои мерцающие взлеты, точно кто-то выключил их рубильником. Где же теперь этот фронт?

В-третьих, и это было самое главное, у шоссе разведчики наткнулись на немецкую охрану. Они были встречены сильным огнем, вернулись в лес, снова напоролась на солдат, охранявших лесосеку, пошли сначала вправо, потом повернули, потом какими-то оврагами кинулись назад...» («Голос в лесу») ¹.

Красоты как бы выжжены войной в рассказах Л. Успенского. Образные определения, сравнения редки, коротки, неприметны («В густом, как зеленый бархат, еловом молодняке их ждала засада...»). Пейзаж, словами самого писателя, «прост, скуп». Он становится пространнее и красочнее только там, где это оправдано обстоятельствами. Хорош лес — «великая красота, глушь и тишь!» — глазами, нюхом «скобаря» Ивана Журавлева, своего человека, хозяина здесь, на заснеженных тропках, среди сугробов, на фоне девственной белизны, лишь кое-где зарисованной следами волка, зайца, или непутевой собачонки. . Война и природа — второй план рассказов «Дроздино гнездо» ² и «Пчелки» ³; обостренное войной, снайперским ремеслом зрение человека, его пристальность к живому, мирному (до поры) лесу. Природа и война — так можно определить внутреннюю тему грустных миниатюр «Звери на войне» с печально-зна-

¹ Л. Успенский. Повести и рассказы. Л., «Дет. лит.», 1965, стр. 133—134.

² «Пионер», 1943, № 9, стр. 10—12.

³ «Пионер», 1943, № 10, стр. 36—38.

чительным подзаголовком: «От нашего военного корреспондента»¹.

Ближе к концу войны писатель позволил себе вернуться к рассказам для самых маленьких. Они печатались в 1944 году преимущественно в «Мурзилке». На страницах этого журнала снова собрались вместе те, кого объединяли не так уж и давно (а казалось, вечность прошла!) «Чиж», «Ёж»: Бианки, Квитко, Маршак, отец и сын Чуковские. Номера иллюстрировал Конашевич. Но как изменилась тематика стихов, рассказов, рисунков!..

Пищу для военного творчества Л. Успенского дало не только Лукоморье. В ноябре 1942 года фронтовая судьба Льва Васильевича изменилась. Из Ижорского укрепленного района его вызвали в Ленинград и прикомандировали к «Оперативной группе писателей», организованной Вс. Вишневским в системе Политуправления Балтийского флота. С самого начала в группу входили А. Крон, Вс. Азаров, Н. Браун, А. Зонин и др. Позднее к ним присоединились Л. Успенский и Ник. Чуковский. «Лев Успенский, крупный, медвежеватый, был, пожалуй, самым подвижным из всех... он кочевал с кораблей на бронепоезда, с бронепоездов на аэродромы, с аэродромов на форты, на артиллерийские батареи»²

В результате этих поездок рождались очерки, корреспонденции. Мы встречаем их на страницах журнала «Краснофлотец», газеты «Красный флот». Рядом с фамилией автора часто значилось: «Краснознаменный Балтийский флот». Форма очерков, как правило, неброская, никаких красотостей. Главное, к чему стремился Л. Успенский, — вложить в написанное как можно больше фактического материала о человеке, о Ленинграде и его повседневном героизме. Он рисовал образы других городов морской славы, совершал экскурсии к славным временам истории, воссоздавал былые битвы на море³.

¹ «Мурзилка», 1944, № 8—9, стр. 17—18.

² Н. Чуковский В осаде. Из воспоминаний. «Юность», 1966, № 1, стр. 89

³ См. например «Вплавь против линкора». «Краснофлотец», 1943, № 23—24, стр. 46—49; «Два Шарнгорста». «Краснофлотец», 1944, № 3, стр. 37—38 и др.

Просветительские наклонности писателя, его немалый опыт в этом отношении то и дело заявляли о себе. И объяснялось это не просто приверженностью определенной традиции. Разнообразные познания и интересы Л. В. Успенский таить не привык — и во время войны старался найти им нужное применение. Каким замечательным собеседником был он в блокадные зимы для близко знавших его, соседство такого человека становилось «лучшим лекарством от всякого уныния, от всякой тоски»¹.

Если это было уместно и возможно, Л. Успенский старался и военные свои рассказы сделать познавательно-интересными, не в ущерб их суровому, драматическому содержанию². Тогда возникал знакомый нам по «географической» прозе писателя 30-х годов мотив загадки, например, загадки определения местности в рассказах о разведчиках («Крапива в бору не растет»), а «скобарь» из одноименной повести веселил не только диковинным своим характером, но и колоритной речью — цокающим псковским говором, переданным сочно, во всех подробностях. Трагикомический случай, когда Иван Журавлев доставил в штаб вместо «языка» вполне дохлого фрица (глава «Тельняшка»), имеет под собой чисто «лингвистическую» основу: для псковича «привести» и «принести» одно и то же, и вот что из этого вышло!

Рецензируя в 1945 году военные рассказы Л. Успенского, критик Л. Скорино увидела их своеобразие и привлекательность прежде всего в «форме живого устного повествования, форме гибкой, позволяющей ввести в действие весь богатый и многообразный арсенал русской речи», в «сказовости» повествования. «Без стилизации под народную речь, — говорилось в статье, — писатель естественно и органично использует ее элементы и самый принцип ее построения»³. Автор рецензии, ве-

¹ Н. Чуковский. В осаде, стр. 90.

² Упрекая Л. Успенского в чисто внешней занимательности, Б. Брайнина (см. ее рец. «Удивительная история»: «Литературная газета», 1945, 3 февр.) была совершенно не права — не учитывала специфики этой занимательности писателя, а также и того, что Л. Успенский не злоупотреблял ею.

³ Л. Скорино. Искусство рассказчика. «Знамя», 1945, № 4, стр. 144, 145.

роятно, и не подозревала, что ей удалось — невольно — назвать главный интерес писателя, проявившийся пока лишь косвенно, опосредствованно.

Только близкие друзья знали, что этот интерес — главный, вернее, один из двух главных. Снова хочется в этой связи процитировать Н. Чуковского: «Во вторую зиму осады мы... много гуляли вдвоем по пустынным ленинградским улицам. Он так же, как и я, прожил в Ленинграде всю жизнь, но знал город несравненно лучше меня. Он знал каждый переулок, каждый дом, каждый проходной двор, каждый мостик: он рассказывал мне даже историю некоторых деревьев на Островах. Вообще он удивительно много знал в самых разных областях... Но особенно силен был он в лингвистике; его интересовала история русских слов, и он накопил по этому вопросу огромный материал. Все, что говорится в его книге «Слово о словах»... я выслушал от него еще во время наших совместных прогулок»¹.

Оперативная работа для нужд войны оттягивала час, когда Л. Успенский мог наконец-то посвятить себя двум самым любимым героям — Ленинграду и родному языку.

КНИГА О МУЖЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДА

Победной весной 1945 года Л. Успенский писал, что книжка о Ленинграде блокадных дней «мало-помалу собралась»². Безусловно, Лев Васильевич имел в виду именно «60-ю параллель». Материал к новому роману в основном был готов. Работа над книгой шла на протяжении двух послевоенных лет и завершилась в 1947 году.

Как это можно наблюдать и в творчестве других писателей — речь идет главным образом о прозаиках, — роман Л. Успенского значительнее, трагичнее того, что он создал на самой войне. И вместе с тем ее живое, учащенное, неостывшее дыхание чувствуется в книге. Чтобы выяснить дополнительные детали, воспроизвести обста-

¹ Н. Чуковский. В осаде, стр. 90.

² Л. Успенский. Из ленинградского блокнота. «Звезда», 1945, № 5—6, стр. 108.

новку боевых действий, Успенский и Караев много ездят по Ленинградской области. И всюду война напоминает о себе. Вот писатели в Луге, добираются до Корповских пещер. Поездка тяжела: между Корповым и Запольем наткнулись на линию немецкой обороны. Г. Н. Караев остается в кабине с шофером, показывает направление, Л. В. Успенский на руках сносит с дороги снаряды, освобождая метр за метром путь автомобилю...

Название «60-я параллель» родилось еще в летние месяцы сорок первого. Лев Васильевич вспоминает сегодня тогдашние свои мысли: «„Пулковский меридиан“ — линия, по которой враги уже не первый раз стремятся к морскому гнезду на Неве и с роковой необходимостью, разгромленные, откатываются от него. Ни разу не удалось им дорваться по нему до другой географической координаты, проходящей через Ленинград, до 60-й параллели... Не дорвутся они, не достигнут ее и сейчас... Так значит, та повесть обо всем, что я увижу, как видел когда-то девятнадцатый год в Питере и возле него, должна будет называться — если мне суждено дожить до своего письменного стола, до Дня Победы — «60-й параллелью»... Впрочем, пожалуй, должное объяснение этого названия пришло ко мне позже; только само оно родилось в тот миг»¹.

Как пересекаются Пулковский меридиан и шестидесятая параллель, так и большие исторические события, разделенные во времени, перекрещиваются, взаимодействуют. Великая Отечественная война проверяла на прочность, на моральную выдержку народный характер, основы которого закладывались в Октябре, в первые годы Советской власти. Здесь логический и четкий принцип внутренней связи двух романов. Когда писатель слишком его обнажает, это не идет на пользу книге.

«60-я параллель» перегружена воспоминаниями героев о прошлом, авторскими напоминаниями и аналогиями между Отечественной и гражданской войнами. Опять и опять — о том, что Евгений (да, уже Евгений, не Женька, не мальчик) Федченко пережил в этом городе Октябрьскую революцию, видел Зимний в первое утро нового строя и пленных юденинцев месяцами спустя. Вновь — об участии Григория Николаевича Фед-

¹ Сб. «Рядом с героями», стр. 216—217.

ченко в двух оборонах Петрограда — Ленинграда. О могиле бабки Домны близ Корповских пещер, где штаб партизанского отряда, об этой могиле как памятнике народному мужеству в гражданской войне.

На страницах «60-й параллели» мы встречаемся с героями, уже хорошо знакомыми: семья Федченко, Гамалеи, Лев Николаевич Жерве. Фашистских военачальников сопровождает некто Александр Трейфельд, бывший полковник юденичевской армии. Естественно появление и новых лиц: отец и сын Вересовы, Василий Спиридонович Кокушкин, Марфа Хрусталева и ее мать-актриса и многие другие. Прошло двадцать с лишним лет со времени действия «Пулковского меридиана». Дети стали взрослыми, зрелыми людьми. Евгений Федченко — военный летчик, Владимир Гамалей — инженер, ученый. Подросла и ушла на войну его сестра Ася. У кого-то растет теперь свое потомство. Но вот что интересно: повзрослевшее поколение бывших детей хотя и действует в романе, и номинально этим людям посвящено немало глав, все же не им отдано главное внимание писателя. В фокусе авторского объектива по-прежнему детство и юность. Описать все, что было на фронте, на войне, невозможно, сказал однажды Лев Васильевич, никакого Гомера не хватит. И он поставил перед собой задачу рассказать «не о войне вообще, не о войне в целом, а прежде всего — о молодости в военном водовороте. О великом и горьком чуде — когда настоящий боец, истинный герой, хладнокровный, умелый, бесконечно отважный, вырастает не из седоусого старшины, помнящего войну гражданскую, не из старшего лейтенанта, любой разговор сводящего к — «а вот у нас под Халхин-Голом» (этим что же и делать, как не продолжать совершать подвиги?!), а из безусого полумальчика, вчера еще бегавшего в технический корпус Дворца пионеров с бумажной авиамodelью под мышкой, из девушки, едва успевшей кончить школу, едва вставшей из-за ученической парты. Они попадались мне на каждом шагу... Что сделало их героями?..»¹

Над этим вопросом задумывались после войны многие писатели. Не соизмеряя сейчас литературных достоинств книг, не сопоставляя качество выполнения об-

¹ Сб. «Рядом с героями», стр. 228.

разов, нужно, однако, сказать, что вместе с юностью лейтенанта Травкина («Звезда» Казакевича) и фадеевских молодогвардейцев, рядом с молодыми героями Виктора Некрасова входили в нашу послевоенную прозу отважный снайпер Марфушка Хрусталева, храбрый Ким Соломин, связистка партизанского отряда Лиза Мигай — из «60-й параллели». Другое дело, что по целому ряду причин, не зависящих от авторов, роман Г. Караева и Л. Успенского увидел свет значительно позднее того времени, когда был написан (вышел первым изданием лишь в 1955 году).

Детство и юность на страницах нового романа Л. Успенского еще активнее участвуют в событиях, чем прежде, в «Пулковском меридиане». Повествование движется в переплетении нескольких сюжетных нитей. Главные из них «ведут» ребята. Конец одной тянет через весь роман маленький ленинградец Лодя Вересов. Другую — Ким Соломин и его подружка Ланэ («Зеленый луч»). — эту пару писатель срисовал с очень юных влюбленных, расстававшихся в первые дни войны на Пещуевом мосту — эпизод запечатлелся в памяти Льва Васильевича, и он вдохнул жизнь в них, незнакомых, на страницах своей книги. Третью — снайпер Марфа Хрусталева и т. д. До войны все они жили поблизости друг от друга; на Петроградской, в «городке МОИПа», что расположен между Каменноостровским мостом и Строгановским дворцом, учились в одной школе. Война разводит их по разным дорогам, а то вдруг неожиданно сталкивает на опасных своих перекрестках.

Каждая сюжетная линия в «60-й параллели» имеет свою кульминацию. Такова, например, трудная победа Марфы Хрусталевой, еще недавно озорной школьницы — ворошиловского стрелка, в ее поединке с невидимым врагом — фашистским снайпером. С психологической точностью, по-снайперски без осечек писатель ведет рассказ о своеобразной дуэли в тишине предвесеннего леса, нарушаемой лишь выстрелами противников. Когда Л. Успенский выступал в школах с чтением отрывков из романа, безотказнее всех, по его словам, действовала на ребят именно снайперская глава «Иван! Буду тебе убить!» Эту историю по-хорошему «утепляет», делает особенно достоверной смешной момент: у Марфы почти не было страха перед врагом, который выслеживал ее,

свою мишень, с противоположного края поляны; зато другой настоящий ужас испытала она, пока лежала с винтовкой в сенной пещерке, — ужас от обитателей стога, зимовщиков-мышей. И ведь ни закричать, ни броситься куда глаза глядят Марфа не могла. Каким-то усилием воли терпела. Расплакалась только потом, когда убила наконец немца, двенадцатого на своем боевом счету, и добежала в родную часть («Да нет, я ничего. Только... Только я никогда больше. Ни за что! Это сено...»).

В романе немало счастливых случайностей, обоснованных писателем в специальном отступлении, а позднее и в «Лукоморье», случайностей, благодаря которым любимые герои Л. Успенского выбираются целыми и невредимыми из самых невероятных ситуаций войны. Однако не все остаются живы, не все доходят до эпилога — нынешних мирных дней. Кончается везенье истребителя Евгения Федченко — он гибнет в воздушном бою над Ладогой. Война не щадит и ребят, ставших партизанами, фронтовиками. При допросе в немецком штабе застрелена Лиза Мигай, романтическая, чистая, совсем еще девочка, первый раз услышавшая слова любви от своего боевого товарища.

Если герой по каким-то причинам, а чаще просто по возрасту, еще не может стать прямым участником происходящих событий, он тем не менее по-своему интересен писателю как их свидетель. Это прежде всего Лодя Вересов, одиннадцатилетний школьник, сын геолога, а во время войны командира батареи на бронепоезде. Лодя, в частности, помогает Л. Успенскому завязать детективный сюжет романа. Ведь мальчику, пожалуй, первому закрадываются в душу смутные подозрения по отношению к мачехе, известной киноактрисе Милице Вересовой, которая оказывается крупной немецкой шпионкой, чуть ли не центром деятельности немецких агентов в осажденном Ленинграде, участницей многих преступлений еще и до войны. Открывает Лодя и «человека с крысой», таинственное лицо, связанное, как выясняется, с той же Милицей, опять-таки опасного шпиона.

Но роль образа Лодя этим не ограничивается. Мальчик становится настоящим спутником писателя на протяжении всей книги. Наблюдательный, чуткий, старше своих лет, по-человечески он, мне кажется, ближе дру-

гих героев романа Льву Успенскому. Так они и идут рядом, сквозь войну, сквозь горькую ленинградскую блокаду, взрослый, умудренный жизнью человек и мальчик. Призма автора и его героя дополняют друг друга.

Из их наблюдений, дум, чувств старого и маленького ленинградцев рождается в «60-й параллели» образ города.

Он написан здесь более лирично, любовно, чем в первом романе. И это понятно. Ведь героическая военная судьба Ленинграда, которую писатель разделил с ним, судьба, вновь прославившая наш город, была в непосредственной близости; еще не успели покрыться пеплом воспоминаний блокадные дни, и был резко, до боли виден непривычный, мертвенно-ледяной простор Ленинграда, все покалеченное бомбежками и обстрелами, оцепеневшее классическое его величие.

Повествование словно обрамлено картинами природы. В начале — ее расцвет, июнь, полный очарования и неясной тревоги. Описание последнего мирного вечера нарочито замедленно, переходит из главы в главу. Л. Успенский выбирает такие точки обзора, с которых распахивается большое пространство. И постепенно Острова — страна детства многих героев романа, их родные улицы, заповедные места игр вливаются в общую картину Ленинграда накануне самой светлой ночи, а весь городской пейзаж вписывается в панораму страны.

Замыкает книгу апрель с негородскими запахами мокрого снега, талой земли, влажных дров. Это особенный, блокадный апрель, когда «...белый, серебряный, словно литой из льда зимний Ленинград сорок второго года стал зловеще меняться — темнеть, буреть, становиться все более невзрачным, захламленным и даже просто грязным»¹. Преступления гитлеровцев, жестоко истязавших город, открываются взору во всей обнаженности. Но главное — жизнь пробуждается, торжествует («Выстояли!») — и выше, мелодичнее всех весенних звучаний, первой многообещающей нотой победы разрезает воздух залиvistый, веселый звонок ожившего трамвая.

¹ Г. Караев, Л. Успенский. 60-я параллель. Л., «Детская литература», 1964, стр. 707—708. Роман цитируется в дальнейшем по этому изданию, страницы указываются в тексте.

Но как долгов был путь от июня до апреля: будто нарушились обычные календарные сроки и неизмеримо растянула война астрономический год. В «60-й параллели» город как человек. И даже удачнее, чем это сделано в отношении многих живых людей, в романе своеобразно передана смена его (Ленинграда) психологических состояний в первые месяцы войны.

Вот тишину белых ночей «раздробило, разделило на части сухое деревянное потрескивание... В гулкой и безлюдной пустоте метроном слышится неестественно громко, точно кто-то роняет с высоты на мостовые и тротуары города сухо стучащие деревянные шары...» (стр. 142—143). «Что-то марсианское, нечеловеческое» в аэростатах заграждения. Нарушена гармония — вот смысл образов. Чужие звуки. Незнакомые очертания в высоком светлом небе.

Август. Должно быть, вздрагивают мостовые от непривычных шагов — идут беженцы, шлепают прямо босиком по асфальту деревенские ребята, на Кировском проспекте прохожий может встретить целое стадо, только без пастухов. «Овцы бежали даже по панелям, как по степи. Потом пошли коровы; они стали щипать траву на самом углу Карповки» (из неотправленных писем Лоди Вересова, стр. 271).

Осень. Начинают облетать деревья. Пусто и глухо на Елагином. Как обычно? Нет. Л. Успенский так пишет сентябрьский Ленинград, этот желтеющий парк, что, чудится, скорбный, с трудом сдерживаемый вздох слышен из груди города.

Это 8 сентября 1941 года. Час или два спустя на Ленинград обрушится первая бомбежка. И отныне на целую долгую зиму город сожмет зубы, твердо сомкнет уста, бесслезный, гордый, и в голоде и в стуже не теряющий величия, достоинства, как и каждый настоящий его защитник — от школьника Лоди до старого матроса Кокушкина.

Ленинград показан в разных ракурсах: изнутри и извне, глазами друга и глазами врага. С немецких позиций он открывается темный, странно безмолвный, «там всегда, вечно, в одном и том же положении стоял, — очевидно, над пригородным аэродромом — вертикальный луч прожектора, точно воткнутый в небо штык» (стр. 557). Пугающая, загадочная громада, по всем за-

конам она давно уже должна была пасть. «Что за город, что за люди в конце концов? Что за непонятное для нас презрение к своей неминуемой гибели?!» (Стр. 384—из письма обер-лейтенанта гитлеровской армии фон дер Варта жене¹.)

А вот вид на Ладогу и на город с самолета Евгения Федченко — «вид сверху», который особенно удается писателю. Он тоже не ограничен фиксацией знакомых классических контуров и очертаний. Это взгляд на город словно с высот истории. Кажется, «и на самом деле кто-то обмакнул в черную тушь колоссальный рейсфедер и провел им по ватманской белой бумаге чуть изогнутую линию — шестидесятую параллель географов... Это линия нашей флотской славы, нашего воинского прошлого. У Ханко, у славного Гангэ-Удда, где галеры Петра побороли флот гордых шведов, вот где вступает она в Финский залив. Она минует в его сердце могучую полутораэтаметровую скалистую башню Гогланда... Тут полтора века назад русские еще раз разгромили шведский флот; его остатки много месяцев прятались в шхерах Свеаборга» (стр. 647). И так далее — по вехам доблести города, навсегда отметивших шестидесятую параллель.

Уже само по себе многообразие подходов, ракурсов, освещений с целью создать объемный, точный образ (города — прежде всего) напоминает исследование. На страницах книги скрупулезность ученого дает о себе знать то объяснением редкого слова, то ссылкой на источник, когда упоминается малоизвестный факт². Основной рассказ писатель вдруг замедляет отступлениями просветительского характера (молниеносно дохо-

¹ Таких писем немало в «60-й параллели». Они тоже в известной мере обрамляют повествование. В них восприятие гитлеровцами войны, ленинградской осады, восприятие, существенно изменившееся за 9 месяцев. Содержание посланий фон дер Варта сочинено, но глубоко достоверна их основа — множество немецких писем, собственноручно собранных на местах боев или переданных нашей разведкой, было в распоряжении Л. Успенского.

² Такова, например, особенно трогательная в контексте военной книги ссылка на Брема (Брем — книга детства самого Л. Успенского, да и многих читателей его романа) — там, где, рассказывая о тяжелом труде людей по очистке Ленинграда от страшных следов зимы 1941—1942 годов, писатель вспоминает, что в древних городах уборкой улиц занимались грифы и собаки.

дят известия в наш век по радио, зато они «месяцами, если не годами, ползли... по лицу нашей огромной страны каких-нибудь сто лет назад. Уже отгремело Бородино, а в Петропавловске-на-Камчатке обсуждали еще как свежую новость рассказ о том, что Наполеон и его «двунадесять языков» перешли через Неман...» (стр. 147). Следуя за своими персонажами по Ленинграду, Л. Успенский не может отказать себе в удовольствии попутно сообщить интересные сведения об отдельных улицах, задержаться — чуть дольше, чем это нужно по развитию сюжета — возле какого-то дома, примечательного своей архитектурой.

Может быть, с точки зрения формальной, все это и инородно в сюжетной прозе. Но, с другой стороны, не говорят ли такие детали и черточки (кстати, они проступали уже в «Пулковском меридиане») о возможностях писателя как-то иначе, в другом жанре, не только силами прозаика-романиста создать образ города?

СНОВА О ЛЕНИНГРАДЕ

Есть Ленинград Л. Успенского, свой, ни на кого, пожалуй, не похожий. Образ его создан не одними художественными средствами и даже преимущественно не ими. Он возникает как бы на грани научного исследования историка и творческого воображения писателя.

В 1957 году к 40-й годовщине Октября, а также к юбилею Ленинграда — 250-летию — одна за другой вышли книги Л. Успенского: «Ленинград. Из истории города», написанная вместе с братом Всеволодом Васильевичем, и «На 101 острове» (в соавторстве с К. Н. Шнейдер) ¹.

Из двух книг «Ленинград» официальнее, традиционнее. Это книга-альбом. Авторы связаны рисунками, с которыми нужно согласовывать текст. И в начале повествование дробно, разорванно. Описание знаменитых

¹ Появление этих книг сопровождалось близкими им по характеру статьями, очерками Л. Успенского. См., например: «Из записок старого ленинградца». «Звезда», 1957, № 6, стр. 130—137; «Из тьмы лесов, из топи блат...». «Нева», 1957, № 6, стр. 153—160.

зданий и улиц дается примерно в исторической последовательности их сооружения.

Но вот постепенно в книгу входят важнейшие общественно-политические события, связанные с нашим городом, люди, прославившие Петербург — Ленинград: Радищев и декабристы, Пушкин и Гоголь, петрашевцы, Чернышевский; наконец, Владимир Ульянов и его «Союз борьбы». И архитектурный план, оставаясь (исподволь книга учит разбираться в стилях построек, отличать манеру Растрелли от Росси, Кваренги от Тома де Томона), уже перестает быть единственным, главным. Растромаживается авторская мысль, все чаще ставятся вопросы, возникают обобщения. Лаконично-наглядны контрасты старого Петербурга, «Один — на окраинах: сизые корпуса заводов, вместо неба — пелена дыма. Днем — смрад, грохот, лязг; снег чернеет еще на лету. Ночью — муть керосиновых фонарей, мрак глухих переулков. Что ни перекресток — городской, казенка, участок и серая, некрасивая церковь... И по шатким мосткам, по грязи днем и ночью тысячи хмурых людей бредут то на работу, то домой... А рядом, «в городе», — свет и жужжание вольтовых дуг. Снегом кажутся горностаевые меха, звездами — бриллианты. Гудят поджарые «моторы» — первые автомобили; на лихачах мчатся в театры и клубы сытые лодыри отдыхать от безделья. И ко всему этому сургучной казенной печатью приложен красный как кровь царский дворец»¹. Здесь нет и следа от чисто архитектурного плана, образ получает четкое политическое наполнение, в метком сравнении — мысль о жестком бюрократизме царской империи.

Книга, чем дальше ее читаешь, тем больше увлекает. Уже не выбраться из плена прекрасных ансамблей, не обозреть из конца в конец этот город (интересно стремление авторов время от времени целиком объять меняющийся городской пейзаж — сделать это становится все труднее). И при каждом событии мы словно присутствуем: на постройке «Ледяного дома», на празднике вербной недели, единственном в году, когда разрешали веселиться петербургскому трудовому люду и отдавали для веселья площади... Кажется, писатель прожил долгоую

¹ В. Успенский, Л. Успенский. Ленинград. Л., Детгиз, 1957, стр. 60.

долгую жизнь, она началась вместе с городом, не позднее, и все, что названо и рассказано, было при нем, на его памяти.

Когда же изложение истории Ленинграда доходит до того, что и в самом деле, словами И. Эренбурга, «с нами в жизни случилось», — революция, пятилетки, блокада, — начинают звучать интонации живого рассказа свидетеля, очевидца, прямые обращения к современникам, к молодежи. Строгий текст вдруг прерывается лирической нотой. Хрестоматийные картины дополняются новыми. Взгляд Льва Успенского открывает на перекрестках ленинградских улиц только ему ведомые секреты. Он замечает, что «на углу Перфильевой и Железнодорожной, в Ланской, Пулковский меридиан пересекается с 60-й параллелью», — и тотчас же, кстати, протягивается нить, связывающая книгу об истории Ленинграда и с «Купипом», и с романами Л. Успенского.

Соответственно в образном строе книги ощущаешь движение от метафор, очеловечивающих отдельные детали городского облика («золотой шлем Исаакия», «полукруглая колоннада, как бы в объятия заключившая площадь», и др.), к одушевлению города в целом: «К февралю 1917 года Петроград помрачнел, осунулся, как тяжело больной». Или: «Питер точно помолодел» — это о «самочувствии» города в начале революции.

Совмещение двух планов — научного и художественного — в изображении города определило жанровые особенности другой книги о Ленинграде — «На 101 острове». Это не справочник, не путеводитель и не роман, предупреждает писатель в предисловии. «О городе, подобном Ленинграду, можно говорить на тысячу ладов». Л. Успенский выбирает свой. Перед нами одиннадцать рассказов, а вернее — даже глав единого целого, среди которых есть и рассказ исторический («Невская виктория») — об основании Санкт-Петербурга, с умелыми вкраплениями архаизмов для передачи колорита далеких лет; и деловой познавательный очерк «Камни нашего города», и топонимическая глава «О чем говорят имена наших улиц»; есть глава — жизнеописание ленинградских памятников, и единственный в своем роде «охотничий» рассказ — о поисках каменных и бронзовых львов в нашем городе, и чуть ли не «производственный» очерк — о ленинградской минеральной воде и ее пути к потребителю.

Каждый рассказ-глава — это своеобразный аспект интереса писателя к городу. Чем же они объединены, почему представляются главами цельного произведения, хотя никаких специфических связей Л. Успенский не делает? Ответ может показаться на первый взгляд банальным: любовь к Ленинграду. Но задумаемся: ведь и в самом деле, усилия ученого и писателя оказались бы наполовину напрасными, если бы их не объединял в одном лице старый ленинградец, не созерцательно, не на словах любящий город. Лев Васильевич так объяснил однажды свое понимание настоящей любви к Ленинграду: «Мне хотелось бы, чтобы каждый из нас, ленинградцев, умел бы... открыто и пламенно в любой миг проявлять свою любовь к родному городу, свою гордость им, свое живое участие в его прошлом, его настоящим, его будущем. Мне хотелось бы, чтобы эта любовь, эта гордость воплощались в точном знании и этого прошлого, и этого настоящего, и в ясном представлении великого завтра Ленинграда»¹.

Книга вобрала в себя факты, добытые различными науками — геологией и историей, разысканиями археологов, искусствоведов, факты, установленные самим Львом Успенским — лингвистом и историком города. И каждая такая цифра (на 101 острове стоит город, около 400 мостов перекинуто через его воды и т. д. и т. п.), любые сведения самого редкостного свойства, например о том, что и в Ленинграде есть сталактиты, их можно найти под могучим сводом Кировского моста, «легкую бахрому тоненьких известняковых сосулечек» — не самоцель, все это «колесики и винтики», из которых писатель тщательно «собирает» образ города.

Поэзия Ленинграда в книгах Л. Успенского укреплена на прочном фундаменте и в переносном, и в буквальном смысле — когда писатель рассказывает, «на чем стоит Ленинград», и выясняется, что он, «как сказочный богатырь, возлежит на каменном ложе с толстым матрасом кембрийской глины, поверх которого постлана тоненькая, но мягкая перина песка и торфа»². Иными словами, Л. Успенский, как правило, не ограничивается

¹ Л. Успенский. Будь гидом по Ленинграду! «Вечерний Ленинград», 1966, 15 августа.

² Л. Успенский и К. Шнейдер. На 101 острове. Л., Детгиз, 1957, стр. 11. В дальнейшем страницы указываются в тексте.

зарисовками прекрасных видов, величественных и волнующих картин, — за акварелью, если допустимо такое сравнение, проступает четко рассчитанный чертеж. Вот он смотрит на город с самолета (излюбленный «вид сверху» — вспомним «60-ю параллель»). Вечер. Проходит три минуты — только три! — и весь Ленинград начинает сверкать огнями. «Словно кто-то сбросил сверху на город длинную, пересекающую его из конца в конец нитку бус, и нитка эта, упав на землю, загорелась сияющими ясными огнями... Вторая линия огненных точек пересекла первую, мгновение спустя, под прямым углом... Сразу целая сеть золотых пунктирных линий прорезалась из мрака где-то там, за Невой...» (стр. 44). Зримо? Эффектно? Конечно. Но для Л. Успенского это лишь повод, чтобы поведать читателям, каким же образом в течение трех минут могло свершиться такое чудо. И начинается рассказ об истории освещения города от Петра Первого до наших дней («Фонарики-сударики»). Рассказ деловой, с именами, датами, цифрами, необходимыми техническими данными. Однако сегодняшняя деловитость повествования у Л. Успенского отличается от его суховатой манеры 30-х годов. Поэтический образ не убит, он наполнен, гармония проверена алгеброй — и строгие контуры чертежа снова могут раствориться в акварели.

Интересно, в этой связи, наблюдать образный ряд у Л. Успенского. Известная пушкинская метафора «в гранит оделася Нева» (писатель «лицует» ее на свой лад: «гранитная одежда Невы») в дальнейшем расширена, прозаизирована: «Из гранита сложены быки — устой под нашими большими мостами...» Одну из глав книжки писатель называет легчайшей пушкинской строкой: «Мосты повисли над водами», но она не обязывает живописать только красоту, изящество ленинградских мостов, — Л. Успенский рассказывает об истории и способах их сооружения, об удобствах и недостатках каждого — и возникает свой образ, естественно, более «вещный», сравнение более утилитарного, так сказать, свойства: «Теперь широкая лента Большой Невы в пределах города перехвачена, как стальными пряжками, семью великолепными сооружениями...» (стр. 78).

А несколькими страницами раньше, в другом сравнении, на наших глазах научно-познавательный план

переходит в план художественный, при этом не исчезая в нем. Речь идет об отличии фонарей на центральных улицах от окраинных. Здесь «мало видеть освещенной мостовую. Мы хотим того, о чем и не задумывались наши предки: чтобы ночью на улицах было светло, чтобы мы могли не только находить дорогу, но и любоваться красотой нашего города. А для этого простые фонари пригородов уже не годятся. Здешние почтительно снимают шляпы-отражатели перед красотами городской архитектуры и стоят на улицах „с непокрытыми головами“» (стр. 48). Заметим, кстати, как удачно найдена здесь эта метафора — тон рассказа достигает высокой, торжественной ноты.

Книги Л. Успенского о Ленинграде воспитывают в детях, да и не только в детях, большое эстетическое чувство, по-своему объясняя ту удивительную гармонию, которая отличает неповторимые архитектурные ансамбли города, планировку его улиц и площадей.

Писатель подымает тему мастеров, именитых и безвестных, прославленных зодчих и простых рабочих — каменотесов, гранильщиков, землекопов, чьим трудом была рождена на свет эта красота, «весь блеск и вся роскошь Северной Пальмиры». «Будем же вечно признательны им», — звучит в финале книги «На 101 острове», которая написана о подвиге человеческого труда во имя созидания красоты.

Город Льва Успенского неисчерпаем в своих тайнах, загадках, особенностях, не перестает удивлять, распаивается перед нами все с новых и новых сторон. По-юношески неутомимый в своем постоянном открытии Ленинграда, Лев Васильевич заражает этой жадной читателей. Обращенность его книги детям прежде всего в откровенном пафосе пробудить интерес, любопытство к тому, что нас окружает. «Да не покроется тусклым налетом обыденности, привычности это чудо из чудес — Ленинград!» — слышим мы из глубины книги. «Вообразите себе...», «Представьте...», «Сядьте на велосипед и доезжайте до...» — то и дело предлагает писатель. И появляется соблазн отложить все дела, сразу же поехать, а то и пешком пойти на эти улицы, которые лежат далеко от центра, неприметны, но хранят память о многом.

Л. Успенский щедро расширяет границы наших пред-

ставлений о городе. Приводит в такие уголки, рассказ о которых обычно не входит в маршруты экскурсии по Ленинграду, — в район Обводного канала, на Моховую, к путям Витебской железной дороги. Обращает внимание на всемирно известные памятники — и останавливается подольше у полузабытых, например у бронзового бюста Константина Грота на улице Попова, чтобы точно прочитать надпись на листах книги, по которой водит пальцем слепая девочка, сидящая около поста-мента...

Вопросы не кончаются. Они многообразны, как многообразна жизнь города, уже принадлежащая истории и сегодняшняя. Замечали ли мы, когда устраиваются «банные дни» для бронзовых памятников? Слыхали о речках, которые скрылись под мостовыми некоторых ленинградских улиц? Не знаем ли, откуда в парадной нашего старого дома взялся каменный лев и кто его автор?

Замечу попутно, что и Пушкин, и Гоголь, которые, естественно, приходят на помощь Л. Успенскому в его изучении города, порой тоже открываются нам — в контексте этой книги — как-то по-новому. Например, цитируя Гоголя, писатель обращает внимание на такие страницы, где автор «Петербургских повестей» говорит об освещении Невского проспекта. Л. Успенский извлекает из литературы XIX века нужный для своего рассказа материал и одновременно прививает вкус к пользованию различными источниками в серьезном исследовании.

Несмотря на то, что сведения о Ленинграде писатель тематически распределил по главам, ему удалось, однако, достичь главного — создать цельный образ города в гармоническом соответствии различных граней его бытия, в единстве прошлого, настоящего и будущего.

Город в книге «На 101 острове» не мертвый объект изучения, не музейный экспонат. Он обаятельно-живой, с шумами сегодняшних больших работ, разноголосием толпы и особенной тишиной белых ночей.

Книга пропитана воспоминаниями детства, юности Л. Успенского. Поэтому так выпуклы и говорящи картины Петербурга в начале века, с керосиновыми фонарями его окраин, ваньками и лихачами, конкой.

Но и зарисовки городского быта XIX, даже XVIII столетий выполнены очень живо. И еще сильнее, чем это

было при чтении книги-альбома, мы оказываемся во власти иллюзии, что писатель был современником и тех, совсем уже давних лет. Мы слышим шаги людей, в чью память и честь названы ленинградские улицы, — размашистую поступь Михайлы Ломоносова, «быструю походку человека в черной разлеталке» Д. И. Менделеева, наблюдаем, словно воочию, строительство первого моста через Неву.

Далекое — близкое. Однако Л. Успенский не перегружает книгу личными воспоминаниями, — избранный жанр не позволяет, всему свое место. Просветитель чувствует ту грань, за которой детали собственной жизни, возможно, разбавят интенсивный цвет нарисованной объективной картины¹. О рассказах Л. Успенского, посвященных Ленинграду, хочется сказать словами Ольги Берггольц: «Но это больше, чем воспоминанье...»

И все-таки судьба писателя вошла в книгу, вдохнула в нее «душу живу», сообщила повествованию единство стиля, сдержанный лиризм.

Все, о чем Л. Успенский рассказал здесь так непринужденно, наблюдалось и обдумывалось годами. Может быть, это совсем просто: прикосновение волшебной палочки — и заговорили таблицы с названиями улиц и площадей; еще прикосновение — ожили каменные статуи. Но волшебные палочки бывают только в сказках. Каждая вновь прочитанная страница, даже строка из жизни Ленинграда — это труд, помноженный на труд и еще раз помноженный на большую любовь к городу. Сколько раз вдоль и поперек исхожен Ленинград! А конца этому путешествию нет. Кажется, я вижу, как ранним утром, сумеречно-зимним или очень ясным осенним, выходит из дома № 41 по Красной улице большой седой человек. Он без спутников. Общение со старым другом — городом — не требует лишних собеседников. К ним, и прежде всего к самым юным, писатель обратится потом,

¹ Вспоминается в этой связи его очерк «Из записок старого ленинградца». Вот-вот, кажется, просветитель уступит место мемуаристу, но нет: словно опасаясь, а вдруг его очерк может произвести впечатление всего лишь эссе или воспоминаний, он стремится к тому, чтобы лично наблюденное стало подсобным материалом, комментарием, справочником к чтению Гарина-Михайловского и Горького, Блока и Маминна-Сибиряка, писавших о Петербурге начала XX века.

когда расспросит город о новых, еще не раскрытых его тайнах и сядет за очередную главу своей книги о Ленинграде. И так, куда же сегодня держит путь Лев Васильевич Успенский, путь, который продолжается всю жизнь?

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ

Из разных краев приходят письма. Не меньше трех ежедневно доставляет почта — это в самые спокойные времена, когда очередная книга Льва Васильевича еще ждет выхода, а волна многочисленных откликов о предшествующей работе писателя как будто улеглась. Число писем уже достигло, кажется, пятнадцати тысяч. Они грозят постепенно выселить Льва Васильевича из старой ленинградской квартиры с окнами на Неву.

Большинство, от школьников до известных ученых, отечественных и зарубежных, шлет Л. Успенскому свои соображения по поводу книг и статей на лингвистические темы — главного труда всей жизни писателя.

К «Слову о словах», разумея под этим общим названием и другие его лингвистические работы, Лев Васильевич шел долго и давно.

Внимательный читатель романов и повестей Л. Успенского уже здесь узнает прирожденного лингвиста. То и дело останавливает наше внимание редкое, но сочное, как нельзя к месту пришедшее слово — в авторском ли описании, в речи ли персонажа. Из глубин народного языка почерпнул писатель какое-нибудь «приглубое место» или «день заводился прекрасный», «напогляд», «недосужно», «спутанные невпрочес волосы». Слово залежалось, потускнело без употребления — и вот ему вернули свежесть, упругую силу. Чувствуется, что над речью своих персонажей наблюдает автор-языковед. Со знанием, как многократно слышанный, точно воспроизводит Л. Успенский в «Скобаре» псковский говор; местные речения — в присказках бабки Домны («Пулковский меридиан»). В «Пулковском меридиане» и «60-й параллели» дает сноски, объясняющие некоторые устаревшие слова или диалектизмы.

В прозе Л. Успенского можно встретить героев-линг-

вистов. Рассказчик из «Блохолова» (1940) в 1913 году, после окончания историко-филологического института, готовился защищать диссертацию... «К вопросу о некоторых обозначениях оттенков масти домашних животных в монастырских писцовых книгах первой половины XVII века». Преуспел в языках профессор Бабер, герой повести «Купип», — сказав, к примеру, «очень хорошо», он не мог не добавить, скороговоркой, как это звучит по-немецки, по-английски, а также на французском и турецком языках. Оба персонажа, как видим, выступают в комическом свете. Возможно, за этими шутками и остроумиями стояли грустные мысли писателя о трудном пути в печать большой его книги, посвященной языку. А скорее всего, Л. Успенский просто не мог и не хотел доверить ни одному из своих персонажей годами выношенных раздумий о судьбах языка.

Идея «занимательного языкознания» впервые пришла к Л. Успенскому в двадцать пятом году. Все началось с детективного романа, со слова «нефть», которое нужно было зашифровать по пушкинской «Русалке» — и вдруг выяснилось, что буквы «ф» во всей драме не отыщешь¹. «Это так поразило меня, начинающего филолога, — рассказывает Лев Васильевич, — что я понял: сколько же тайн и загадок существует в языке для людей, не сведущих в тонкостях лингвистики!» И еще раз всерьез подумал Л. Успенский о такой книге после лекции Л. В. Щербы, который начал с анализа вымышленной фразы о «глокой куздре» — и показал существование в языке *своих* алгебраических или геометрических законов — иными словами, его грамматики.

Первые главки будущей книги так и назывались: «Таинственная буква»² и «Глокая куздра»³. Обе они вошли в «Слово о словах» несколько сокращенные. Вслед за ними Л. Успенский продолжал печатать в «Костре» и «Пионере» 30-х годов другие лингвистические рассказы⁴, и среди них, между прочим, такие, которые

¹ См. об этом: М. Ильина. Когда вначале было слово. «Ленинградская правда», 1963, 7 апреля.

² Злоключения с буквой «Ф» опубликованы в «Еже», 1935, № 10, стр. 18—19.

³ «Пионер», 1936, № 4, стр. 103—104.

⁴ См. например: Самые длинные слова. «Пионер», 1936, № 5, стр. 97—98.

свидетельствуют, что в это же время «завязывалась» и другая книга Л. Успенского — об именах¹.

В 1937—1938 годах «Слово о словах» вчерне сложилось. К началу войны был готов первый вариант этой книги под названием «Глокая куздра». Его читали многие компетентные редакторы. Но критика «нового учения о языке», содержащаяся в работе Л. Успенского, тормозила ее публикацию.

Даже в дни войны писатель использует малейшую возможность, чтобы продолжить любимое дело. Вот в «Пионере» за 1944 год промелькнула этимологическая миниатюра Л. Успенского «Родословная капитана»², из которой можно было узнать о «сложной грозди слов» — родственников «капитана» в различных языках. А в конце 1945 года в этом журнале Лев Васильевич организует «Страничку лингвиста»³, называя один из разделов «Неожиданное открытие» — о несоответствии буквы и звука в русском языке.

Медленно, крошечными главами, отрывками, добиралась до читателей большая работа Л. Успенского, пока, наконец, в 1954 году «Слово о словах» не вышло из печати первым изданием. Вопрос о повторном встал сразу же — книга разошлась моментально. Нужда в труде такого рода ощущалась очень давно. «Между работами Б. Казанского⁴, опубликованными в тридцатых годах, и нынешним днем лежит пятнадцатилетие полной пустоты и глубокого молчания, — писал Л. Успенский в 1954 году в «Заметках о советской научно-художественной литературе». — За пятнадцать лет — ни одной попытки ознакомить детей с проблемами возникновения человеческой речи, образования наличного множества языков, с вопросами грамматики, стилистики, со всей сложной, животрепещущей и совершенно незнакомой не только детям, но часто и взрослым сложнейшей и поучительной жизнью языка!»⁵

Сетуя на полную — годами! — заброшенность лингви-

¹ Как ваше имя? «Костер», 1937, № 1, стр. 104—106. Удивительные имена. «Костер», 1937, № 5, стр. 98—102.

² «Пионер», 1944, № 2—3, стр. 30—31.

³ «Пионер», 1945, № 11, стр. 28.

⁴ Приключения слов. М., «Молодая гвардия», 1931. Разгаданная надпись. М., Детгиз, 1934 и 1935.

⁵ Л. Успенский. Поэзия науки. «Звезда», 1954, № 10, стр. 163.

стической темы в литературе, Л. Успенский невольно характеризует проблематику собственной книги, в которой действительно получили отражение едва ли не все наиболее важные вопросы языкознания.

Через несколько лет, когда «Слово» уже было переиздано, как ветвь от него отделилась новая книга писателя — «Ты и твоё имя», начала отпочковываться работа специально этимологического профиля (теперь она наконец вышла из печати, — это краткий этимологический словарь школьника «Почему не иначе?»), появились статьи Л. Успенского по топонимике, а ныне из них выросла книга «Имя дома твоего». Вообще — это отмечалось уже во введении — книги и статьи писателя тесно связаны; газетные, журнальные выступления Л. Успенского прокладывают путь большим его произведениям, существенно дополняют их.

Трудно сказать, кто из них «генералы», кто «рядовые». Этимологические словарики по специальности охотников и лесников¹, поэтические изыскания в области наименования старинных русских городов, речек и деревушек, гневно-иронические отповеди тем, кто безжалостно коверкает язык², деловые подробные справки о происхождении слов, ответы читателям, писателям, ответы кровно заинтересованным судьбой родного слова и тем, кто чванится своей безграмотностью, — все они, равно как названные большие книги писателя, одинаково терпеливо и страстно, по воле сердца их автора, служат благородному, очень нужному делу бережной охраны нашего языка от всякой порчи, изучения и пропаганды его неисчислимых богатств.

Работам Л. Успенского о языке свойствен глубокий, последовательный историзм. Они проникнуты искренним интернациональным духом, мыслью о братстве мирных, честных людей планеты: «...под всеми небесами, на берегах всех морей люди всех цветов кожи, говорящие на всех языках мира, остаются людьми, думают и чувствуют по-человечески, — именно поэтому мы и способны понять движение души, заставляющее англичанина и

¹ Печатаются в журналах «Охота и охотничье хозяйство», «Лесное хозяйство».

² См. например: Последний из крайних. «Литературная газета», 1959, 6 июня. «Граждане, прошу не выражаться...» «Литературная газета», 1959, 21 июля.

ненца, китайца и кариба одинаковые вещи видеть по-одинаковому и строить свои по-разному звучащие имена в виде сходных, напоминающих друг друга, подчиненных одним закономерностям словесных образов»¹. Тезис о великой объединяющей роли языка лежит в основе книг и статей Л. Успенского.

И все-таки, разумеется, именно «Слово о словах», «Ты и твоё имя», «Имя дома твоего» занимают центральное место среди прочих лингвистических работ Л. Успенского. Здесь сходятся нити многообразных интересов писателя в области языкознания, обобщены результаты долгих поисков и раздумий над судьбами родного слова. По значению, насыщенности материалом, по адресованности к широкой читательской аудитории они стоят рядом с работами Б. В. Казанского, ашукинскими «Крылатыми словами», рядом с известной книгой К. И. Чуковского «Живой как жизнь» — и одновременно отличаются от них «необщим выраженьем» лица.

Какое же оно? Задумаемся: в чем своеобразие этих работ? «Я автор одной-двух книжек, популяризирующих вопросы языкознания»², — определил однажды Л. Успенский свой вклад в литературу о языке. Соглашаясь с ним в самой общей форме, попробуем, однако, расшифровать, конкретизировать понятие «Лев Успенский — популяризатор языкознания». Как складываются в его книгах взаимоотношения писателя и ученого — вот вопрос, который прежде всего возникает перед нами в этой связи.

Когда «Слово о словах» вышло из печати, о ней написали специалисты-филологи, они обратили внимание на «полезность и значение книги Л. Успенского как вспомогательного пособия для школьного образования»³, они же дали в основном чисто лингвистический анализ «Слова» и с лингвистической точки зрения констатировали ряд неточностей. Казалось, что некоторым рецензентам *писатель* Успенский, с его образным мышлением, остроумный, находчивый в определениях, как раз мешает в этой книге — и они списывали на его счет «облегчен-

¹ «Наука и жизнь», 1962, № 7, стр. 50.

² Л. Успенский. Мы знаем силу слов... «Ленинградская правда», 1963, 28 июня.

³ С. Полякова, И. Феленковская. Л. Успенский. Слово о словах. «Русский язык в школе», 1955, № 3, стр. 71.

ную», с их точки зрения, терминологию, недостаток академизма. Этого, правда, нельзя сказать об отзывах всех ученых, откликнувшихся на выход «Слова». Л. Успенский скромно именует свою книгу «Очерками о языке», говорилось в одной из статей, в то время как перед нами «яркий и увлекательный рассказ о словах, звуках и грамматических формах, об их приключениях и зловключениях, о тайнах и чудесах, загадках и разгадках в сфере научного изучения языка»¹. Как видим, рецензент-лингвист отдал должное именно способу изложения материала художником Львом Успенским. В том же примерно духе высказался и профессор А. Реформатский. «Сочетать в себе филолога-языковеда и писателя не просто, — писал он о первом издании «Слова о словах», — Льву Успенскому это удавалось не раз»².

Согласный союз художника и ученого в книге Л. Успенского отметили писатели. Характерно: не трактатом, не исследованием — «увлекательной повестью о своеобразных «приключениях» слов в истории русского и других языков»³ назвал «Слово о словах» К. Федин. Эту мысль как бы развивает Г. Гор: «Хотя на обложке... стоит имя одного автора, читателя не покидает чувство, что книгу писали два человека: теоретик-исследователь и писатель-художник, поэт. В Лье Успенском объединились... два почти исключаящих друг друга начала, объединились для того, чтобы создать новый тип книги, одновременно поэтической и научно-исследовательской, философской»⁴.

Однако в этом союзе есть старший, ведущий. Мысль ученого руководит композицией книг, определяет их ясную, такую легкую — в чтении — конструкцию, четко систематизирует огромный материал, которым располагает Л. Успенский. От основных теоретических тезисов введения в языкознание к фонетической структуре языка в ее соотношении с графикой, к морфологии и далее к лексике (главный интерес Льва Васильевича) — тако-

¹ Б. Надэль. Занимательное языкознание. «Иностранные языки в школе», 1957, № 2, стр. 105. (Курсив мой. — Н. Б.)

² А. Реформатский. Слово о словах. «Огонек», 1955, № 10, стр. 19.

³ К. Федин. На высшую ступень. «Правда», 1954, 15 декабря.

⁴ Г. Гор. Слово о Лье Успенском. «Литература и жизнь», 1960, 20 марта.

ва в общих чертах линия построения «Слова о словах»; рассмотрение поочередно трех наиболее крупных групп собственных имен — личных имен, отчеств и фамилий — в основе композиции другой книги, «Ты и твое имя». «По твердому плану», словами самого писателя, построено «Имя дома твоего»: общие сведения о топонимике; основные, исторически складывавшиеся способы называния городов, рек, гор; причины изменения географических имен с течением лет; попытки классификации топонимов по различным признакам и т. д.

Причем, нужно принять во внимание, что в период работы Л. Успенского над «Словом о словах» непосредственных образцов курса языкознания, с которых писатель-ученый мог бы срисовать «скелет» своей книги, фактически не было¹, за исключением небольшой работы профессора Реформатского. И уж разумеется, тем меньше готовых «моделей» — научных трудов по именословию мог найти Л. Успенский, когда писал «Ты и твое имя». Что же касается «Имени дома твоего», то на этот раз Л. Успенского «мобилизовала и призвала» совсем мало разработанная отрасль языкознания — топонимика, и он один из первых взялся утвердить науку о географических именах в подобающем ей высоком звании.

Писатель и не скрывает всей серьезности намерения рассказать о любимой науке на высоком *научном* же уровне, хотя «Слово о словах» создавалось «не для того, чтобы стать учебником языкознания»², а «Ты и твое имя» нельзя уподобить солидному научному изысканию в области ономотологии. Писатель делает оговорку, что иные законы языка характеризует «вчерне» и останавливается, «может быть, даже не на самом существенном... но зато наиболее доступном пониманию и вместе с тем способном возбудить интерес» (стр. 28).

Строгая научная основа книг обнаженно проступает в четких выводах и формулировках, прочно вкрапленных в массу повествования, в целых отдельных главах, которые можно назвать теоретическими «зубцами» рас-

¹ Л. Успенский ориентировался в основном на курсы языкознания, которые прослушал студентом в Институте истории искусств.

² Л. Успенский. Слово о словах. Ты и твое имя. Лениздат, 1962, стр. 27. Обе книги цитируются в дальнейшем по этому изданию, страницы указываются в тексте.

сказа или узлами научных рассуждений (таковы «Всюду одно», «От слова до фамилии и обратно» и др. в книге об именах; «Языковые семьи», «Глокая куздра» и др. — в «Слове», «Ахи-ухи и ицы-анцы», «Га, ма, ва» и др. — в «Имени дома твоего»). И не только в этих главах — на протяжении всего рассказа Л. Успенский пользуется необходимой специальной терминологией; не перегружая ею текст, вводит «ученые» слова постепенно, объясняет их раз-другой, так что потом, освоившись, мы вместе с автором уже без труда оперируем ими, как это было в «Слове», например, с термином «этимологизация» и многими другими.

Но к теоретическим «пикам» своих книг Л. Успенский взбирается круто и трудно. Он не ищет легчайших троп, чтобы сделать вывод. Шаг за шагом проходит писатель все необходимые этапы научного размышления, которое лишь на первый, беглый, взгляд пропадает в забавной истории, описании полуанекдотического случая или в поэтической притче. Рассуждение здесь не прерывается, оно просто принимает особые формы, о которых разговор еще впереди.

Направление, пафос этих книг Л. Успенского можно определить строкой поэта: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» (Пастернак). Мысль ученого, как штопор, ввинчивается все глубже в материал, в самую суть неподдающейся скорому решению проблемы: только ли словами или, может быть, как-то еще способен человек думать, что есть *слово* вообще, когда и как человек научился говорить, как добиться, чтобы имя было *именем*, а не случайно прилепленным к человеку *любым словом*» (стр. 458) и т. д. и т. п.

Книги строятся по принципу цепи вопросов. Десятки «почему?», «как?», «зачем?» — сначала простые «как?» и «зачем?», потом все труднее — и вот мы уже погрузились вместе с Л. Успенским в глубины науки, вместе пробираемся сквозь чашу трудностей.

Внутренняя тема всей трилогии — прекрасный и тяжелый труд добывания научной истины, завоевания на этой стезе, которые стоят порой многих потерь, ошибок. Посвящая себя науке, не ждите быстрых удач, осторожно стройте гипотезы! («осторожно!» — это слово становится едва ли не лейтмотивом в «Имени дома твоего») — предупреждает писатель и сам показывает пример тща-

тельного изучения проблемы, постоянно ставя перед собой и читателями вопрос: «А как это можно доказать?» Проверяйте «языковые данные историей, историю — географией, географию — археологией и археологиею — языкознанием... на таком четвертом сите отсеется истина» — звучит, как притча, в «Имени дома твоего»¹.

«Слово о словах», «Ты и твое имя», «Имя дома твоего» — приглашение к исследованию. У Л. Успенского есть дар убеждать, и он писал эти книги в расчете на соучастие читателя. И дело, конечно, не только в том, что читателю время от времени предлагаются посильные задачи: подобрать побольше «оттаявших» (оживших) слов, вроде «надолбы», которое «усыпило... появление огнестрельного оружия, воскресила танковая война» (стр. 244); дополнить табличку-схему со словами, обозначающими жителей тех или иных городов; отыскать на карте, кроме уже названных, имена, звучащие как названия зверей или производные от них — для коллекции топонимических курьезов («Имя дома твоего», стр. 148)... Подобный способ приобщения к науке, весьма характерный для популяризаторских работ Л. Успенского 30-х годов (кстати, здесь мы сталкиваемся с ним в главках, написанных, как правило, еще до войны), в этих книгах не главный.

Автор — что особенно важно — вводит читателя в «научную лабораторию языковеда», открывает, по верному замечанию одного рецензента, самую «технику и методику лингвистических разысканий»².

Писатель зовет туда, где трудно, неясно, не все исследовано. От издания к изданию он расширяет в «Слове о словах» круг проблем. Если в 1956 году «грамматическая» глава «Глокая куздра» кончалась разделом «Что может раскрыть обыкновеннейший суффикс» и связанной с ним историей фамилии Велосипедов, то в 1960 году Л. Успенский добавляет сюда главку о «войне» суффиксов и корней в русском языке, а также о словах, обозначающих уроженца, жителя какого-ни-

¹ Л. Успенский. Имя дома твоего. Очерки по топонимике. Л., Детгиз, 1967, стр. 253. В дальнейшем страницы указываются в тексте.

² См. указ. рецензию Б. Надэль.

будь города. Здесь много нерешенных вопросов, много такого, что, по выражению писателя, «интереснейшим образом осложняет дело»: почему в Москве живет москвич, в Туле — туляк? а почему «Уфа» не дала «уфяка»? Иными словами, добавлен материал, над которым стоит задуматься, даже предложить свои догадки — для главы найдено окончание в духе всей книги.

«Слово», «Ты и твое имя», «Имя дома твоего» заражают желанием мыслить творчески, не по шаблону. Л. Успенский опровергает тот, казалось бы, стройный вывод, к которому только что пришел вместе с читателем. Вот мы узнали, что нынешние фамилии произошли от собственных имен, а ими были когда-то «мирские» («княжьи») имена: предка нынешних Шубиных звали Шубой, Некрасов — это сын Некраса (видимо, так нарекли ребенка, чья внешность не показалась родителям достаточно привлекательной). Мы уже поняли эту закономерность, как Л. Успенский предложил нам еще одну фамилию, старую дворянскую фамилию — Козодавлев. Следует цепочка вопросов: откуда могла появиться такая фамилия и что она значит? что получается при разложении этого слова на части? каково значение суффикса «л»? Руководствуясь предшествующими образцами, можно без труда ответить на все вопросы, и только последний вызывает заминку: кто же такой был «козодав»? Специальность ли некогда существовала — «давать коз», или так назывались люди, которые что-то «давали козам»? И здесь писатель приводит совершенно неожиданное объяснение: Козодавлев — это переделка на русский лад по созвучию фамилии датского переселенца в Москву «Косс-фон-Даалена» — объяснение, которое Л. Успенский почерпнул из книги, посвященной происхождению старых дворянских родов.

Прав ли был писатель, предложив нам всю эту цепочку вопросов? Безусловно. Ведь путем таких умозаключений прошел он сам, но прошел до определенной черты, за которой метод грамматических аналогий, сходных случаев, «стандартов» перестает действовать — и нужно обратиться к помощи смежной науки.

Построенные по цепи вопросов, книги Л. Успенского тем и ценны, что объясняют сложнейшие явления. И только в редких случаях цепь нарушается — в ней попадают вдруг «пустые» звенья. Так, в книге «Ты и

твое имя» писатель задает вопрос, возможен ли переход русского крестного имени в фамилию: «Виданы ли у нас такие фамилии, как Василий, Елена, Петя или Андрюша?» (стр. 454.) Предполагая, что ответ будет отрицательным, Л. Успенский удивляет нас целым перечнем подобных фамилий, взятых из адресного справочника «Весь Петроград» за 1916 год: Борис, Мария Михайловна; Емельян, Юрий Викентьевич и другие — вот какие сюрпризы преподносит изучение имен! Но, констатируя факт, писатель не выдвигает объяснений этому курьезу (курьезу ли?) — и переходит далее, к увлекательной теме так называемых советских имен.

Итак, мысль ученого ведет за собой повествование. Но их своеобразие этим не определяется. Когда и в какой форме на помощь ученому приходит воображение художника? И только ли подсобна здесь роль писателя?

Еще в 30-е годы критика стремилась сгруппировать книги о науке по различным категориям, в основном по двум: те, что тяготеют больше к чистой науке, и те, что ближе к литературе. Эти попытки продолжаются и поныне. При всем многообразии определений: книги «строго научные», «научно-популярные», «научно-познавательные», «познавательно-информационные», «познавательно-пропагандистские», «научно-художественные», — основная граница проводится между «научно-популярными» и «научно-художественными»: На эту тему немало теоретизируют: отмечают, например, что «научно-художественная книга незаметно соскальзывает в научно-популярную», если она начинает «неуловимо приближаться к учебнику, к простому, творчески не перестроенному изложению темы»¹. Дань подобным рассуждениям практически отдали все писавшие и пишущие о М. Ильине, Я. Перельмане, А. Ферсмани и др. Принял участие в этом долгом диспуте и Л. Успенский² — один из авторов наиболее трудно «разносимых» по сколоченным «полочкам» книг.

¹ А. Дорохов. Не о вчерашнем, а о завтрашнем дне научно-художественной книжки для маленьких. В сб.: Детская литература 1958. М., 1958, стр. 139.

² См. его статьи: Поэзия науки. «Звезда», 1954, № 10, стр. 157—163; Лучшее — друг хорошего. В сб.: О литературе для детей. Вып. 2. Л., 1957, стр. 40—57.

Возникает вопрос: так ли уж плодотворен старый спор, по сути, относительно терминов? Ведь часто случается, что теоретические построения, такие, казалось бы, убедительные, начинают давать трещины, а то и вовсе рушиться, когда дело доходит до конкретного разговора об отдельной, своеобразной книге. Каким определением ее увенчать, в какую запереть группу, если «фронт научно-художественной литературы очень широк» и действительно «тут возможны все переходы от науки к литературе»¹, если книги такого рода и в самом деле стоят «на сложном рубеже между художественной и деловой прозой»².

Однажды я спросила Льва Васильевича про его статьи, посвященные характеристике научно-популярных и научно-художественных произведений — и, в этой связи, к какой категории он склонен отнести свои «Слово», «Ты и твое имя». Писатель уже успел забыть о статьях и сформулировал мысль коротко: какую книгу можно назвать научно-художественной? Да просто очень хорошую научно-популярную, где есть чистота авторской мысли, стройность общей конструкции, острота приемов, — словом, все то, что можно найти у Я. И. Перельмана или в «Занимательной минералогии» Ферсмана; хотелось бы думать, что «Слово» и книга об именах написаны в том же плане. И еще, — добавил Лев Васильевич, — очень уж не люблю это слово «научно-художественная», какое-то оно громоздкое и нелепое.

Откажемся от тяжеловесного термина и мы. Будем говорить о книгах, *пропагандирующих науку*. И о том, что Л. В. Успенский — один из писателей-ученых, для кого пропаганда науки — искусство, кто представляет себе книгу о науке непременно *поэтической книгой*.

Применительно к работам Л. Успенского речь идет не только о беллетристических средствах (ступенях) раскрытия темы, не только об образном оформлении мыслей, доводов, итогов, но об особом, поэтическом отношении к предмету, особом видении горизонтов науки, безбрежного лингвистического моря. Исследование его

¹ М. Ильин. Рассказ о науке. В сб.: О детской литературе. М.—Л., 1950, стр. 298.

² Л. Успенский. От двух до шестнадцати. «Учительская газета», 1961, 27 мая.

глубин проникнуто эстетическим чувством, овеяно романтикой поиска. Все это, вместе взятое, и составляет поэзию науки в книгах Л. Успенского.

«Поэзия науки» — эти слова успели стать стандартом, дежурным заголовком статей о Ферсмане и А. Беляеве, Мих. Ильине или о том же Л. Успенском. Но, произнося «поэзия науки», мы, признаться, очень редко разъясняем, в чем же она состоит, а порой определяем этим высоким словом особенности весьма уважаемого, солидного труда, в котором поэзии-то как раз и нет.

Поэзия науки в произведениях Л. Успенского начинается с образа автора, с его личности, какой встает она на страницах лингвистической трилогии. Это человек, очень образованный, увлеченный своей наукой (не отсюда ли идет недостаток академизма, по которому тосковали некоторые рецензенты?), смелый в догадках, неутомимый в поисках. Читателя этих книг не может не покориť та легкость, с которой писатель обращается то к мифологии, то к истории флота, наводит справки у археологов и «птицеведов». Он во всеоружии политических знаний, ему отлично известна история — иначе быть не может, потому что «нельзя изучать историю языка в отрыве от истории того общества и народа, которым он принадлежит» («Слово о словах», стр. 169). Кажется, все у писателя тут же, под рукой — от древнерусских грамот, летописей, — без них не обойтись, рассуждая, в частности, о древней двухименности («Ты и твое имя»), старых названиях наших городов и рек («Имя дома твоего»), до адресных справочников разных лет, путеводителей и т. д.

Тон лингвистических книг — живой, меняющийся, их темп — динамичный, при всей доскональности научных разысканий и педантичности в доказательствах, задает не суховатый, обстоятельный ученый, а «добрый великан» (как-то очень кстати приходится здесь поэтическая метафора Луговского), наблюдательный, остроумный, находчивый. У него богатейший жизненный опыт: это редкостное имя он узнал при таких-то и таких-то обстоятельствах во время гражданской войны, а вот с этим топонимическим курьезом впервые столкнулся в дни Великой Отечественной... Писателю доступно все земное, хорошо знакомы голоса птиц, и вообще весь

большой мир природы, борьбы, в котором живет человек с его удивительной способностью *говорить*.

Уже в названиях лингвистических книг Л. Успенского можно уловить две взаимосвязанные тенденции его письма. *Приподнятость*, пафос, идущий от сознания того, как важна его любимая наука, слышится в заглавии «Слово о словах», которое ведет нас к далеким временам, к памятникам русского торжественного красноречия. И прямая публицистическая *обращенность* к читателю — «Ты и твоё имя». В заглавии «Имя дома твоего» обе тенденции как бы объединяются.

Конечно, названными чертами не исчерпывается стиливое многообразие этих книг, в которых мы видим не только внешнее выражение разнородного, объемного материала, их насыщающего, но, прежде всего, проявление личности писателя — то полемически страстного, то задумчивого, то гневного, то лиричного, смотря по обстоятельствам, в зависимости от темы, от поворота повествования.

Да и сам герой книг во многом определяет характер рассказа: родной язык, живой, «подвижный», иногда он ведет себя как «умный лентяй», язык с его многовековыми привычками, симпатиями и антипатиями (например, с явной нелюбовью начинать слова буквой «А»), в его дружественных или корректно-холодных взаимоотношениях с языками-соседями, родственниками, свойственниками или едва знакомыми.

Известный прозаик С. Залыгин однажды пессимистически усомнился в том, что «крупнейшие языковеды станут и крупнейшими стилистами... увы! — они то и дело поражают нас тяжестью и некрасивостью всего того, что... пишут о красивом языке»¹. О Льве Успенском этого не скажешь² (может быть, потому, что лингвист он не «крупнейший», зато писатель хороший?!).

¹ С. Залыгин. Что значит учиться языку? «Литературная Россия», 1966, 8 июля.

² В своих книгах Л. Успенский тонко анализирует особенности стиля различных писателей. Эти характеристики бывают кратки (ироническое замечание о погоне за «светским тоном» в поэзии Северянина, выразившейся в пристрастии к словам на «э») и более подробны: анализ произведений Пушкина, Толстого с точки зрения названия героев, литературоведческий комментарий к картотеке «ботанического сада» Пушкина.

Рассказ в его книге бывает торжественно-возвышен, когда Л. Успенский пишет о свершившемся наконец чуде: человечество заговорило — и ведь, к сожалению, «невозможно отпраздновать... «юбилей» языка...»; своеобразной одой родному языку кончается «Слово о словах».

Рассказ обстоятельно-нетороплив — в исторической части («Время шло, человечество переходило от ступени к ступени своей истории...») и, по-своему, там, где писатель проводит языковые аналогии, где и «колонки» («столбики») сравниваемых слов как бы становятся элементом стиля.

Местами лингвистическая проза Л. Успенского приближается к памфлету: вспомним историю буквы-тунедца, буквы-троглодита, пожравшего множество книжных страниц, ставшего «буквально... народным бедствием», — злополучного «ъ» («Самая дорогая буква в мире»). Черты памфлета есть и в главе «Мулли Улли Гю» — о неправдоподобно длинных именах (в книге «Ты и твоё имя»).

Многие страницы лиричны. Это лирика с примесью интонации удивления; как много может слово, как широко оно в своём значении: «В одном себе оно соединяет все возможные образы, все представления о воде, любые признаки, ей свойственные. Оно способно приглушать или совсем сбрасывать одни из них, подчеркивать или сохранять другие. Оно позволяет мне без всякого труда думать... и вот об этой только ворвавшейся в мой сапог ржавой, припахивающей железом холодной воде лесного болотца и о безликой воде химиков, про которую ничего хорошего не скажешь, кроме того, что она «аш-два-о!» («Слово о словах», стр. 176). И лирика грустная в рассказе о происхождении имен, давно уже исчезнувших, только в фамилиях дающих о себе знать: Неупокой, Томило, Нелюб, Докука, Беда — сколько горьких примет голодного, темного народного быта встает за каждым из них, — не случайно так называли детей.

Самостоятельными, лирически окрашенными новеллами звучат в книгах Л. Успенского истории возникновения некоторых слов, например слова «фара» — от названия острова «Фарос», где еще в III веке до н. э. египетский царь Птоломей приказал соорудить маяк у вхо-

да в шумную гавань Александрии. Пусть это слово значит теперь «что угодно. Как только я слышу его, мне мерещится там, за туманом времени, за длинным рядом веков, над далеким старым морем дымный факел Фаросского маяка. Представьте себе ясно, как невообразимо давно это было! Пламя Фароса давным-давно погасло. Рухнула его гордая башня. Искрошились те камни, из которых она была сложена. А самая, казалось бы, хрупкая вещь — человеческое слово, называвшее ее, — живет. Таково могущество языка» («Слово о словах», стр. 282).

А юмор — неотъемлемое качество лингвистических романов Л. Успенского! Разный, во множестве оттенков, он всегда растет из самого материала — и не отвлекает, наоборот, помогает истолкованию этого материала.

Так, в «Имени дома твоего» поводы для веселой издевки, тонкого авторского злословия возникают то и дело. Излагая историю географических имен, Л. Успенский показывает, как много нелепого, смешного происходит, когда «новый язык старается чужое слово подогнать под формы своих слов, вовсе не заботясь о его смысле» (стр. 103). Оказывается, великое множество «имен-недоразумений» разбросано на географической карте мира. И «топонимических анекдотов» бесчисленное количество. Заменили же финны «из патриотических соображений» финское по происхождению имя реки Сестра (образовано от Съестарйоки) на имя по происхождению русское — Райайоки — Пограничная река (ведь «райа» не исконно финское слово, а переделанное русское «край»).

Остроумные, веселые книги — «Слово о словах», а особенно «Ты и твое имя». Как выходят из положения языки, в которых имена существительные не различаются по родам, например английский, чтобы указать пол животного? Они вырабатывают приемы косвенного указания пола, на наш взгляд, забавный, потому что «в применении к нашим обыкновениям это могло бы звучать как «котоваська» и «котомашка» или «котодаденька» и «кототетьенька» (стр. 353).

Комический эффект производит и необычный, вольный перевод иностранных имен на русский язык (Септимий Север значит «Семеркин из Суровых!») и обрат-

ный перевод — «разоблачение» некоторых имен, казавшихся нам исконно русскими («приветствуя учителя физики: «Петр Никитич, здравствуйте!» — вы, собственно, произносите: «Здравствуйте, Камень Победителевич!» — стр. 395), и непривычные смешные «ботанически-зоологические» имена, которые придумывает писатель по аналогии с существующими: если есть «Роза Львовна», отчего же не быть «Фиалке Леопардовне» или «Настурции Гиппопотамовне»?! Остроумные изобретения Л. Успенского напоминают образы из «Записных книжек» Ильфа: оба писателя одним росчерком пера набрасывают выразительный портрет, комический, а случается, и откровенно издевательский.

Мы улыбаемся умному замечанию Л. Успенского по поводу суеверия наших предков, которые боялись навлечь на ребенка злых духов и прикрывали его красивое, нежное или горделивое имя другим, непривлекательным, или то же самое имя переводили на иностранные языки: «...окрестили Хоздазатом («дар божий»), а зовут Феодором (тоже «божий дар»)». Оба слова значат одно... но ведь навряд ли злые духи хорошо знают иностранные языки...» (стр. 425).

Много веселых минут доставит каждому поучительная трагикомическая глава «Современные номофилы» — о советских именах, «именах-чуждачествах». Метки и язвительны сравнения, которые использует Л. Успенский, чтобы показать всю нелепость, претенциозность некоторых имен западного происхождения: «Брунгильда Павлова получила двойку...», «Эсмеральда Ванина купила калоши...» Не кажется ли вам, что человек с таким именем чем-то напоминает даму в пышном кринолине, входящую в трамвайный вагон, или напудренного маркиза с косичкой, ожидающего мяча в воротах команды «Динамо»? (стр. 461.)

Когда же речь заходит о сегодняшних нуждах лингвистики, не остается места ни веселому злоязычию, ни забавным парадоксам. Солидное, спокойное повествование здесь тоже меняется. На первый план выступает Успенский-публицист. Голос писателя звучит требовательно (пора, наконец, издать так нужные в практике жизни словари профессиональных, производственных слов и выражений, областные), порой ядовито, часто с горечью — на тех страницах, где говорится о посяга-

тельстввах на чистоту и стройность языка, о неразборчивом отношении к его богатствам.

Таким образом, Успенский-писатель определяет эмоциональный строй обеих книг. И их живую, яркую образность — тоже.

Перед нами проходят «окаменелости» наречий; просыпаются после длительной спячки, летаргического сна слова, которые становятся как бы новыми благодаря способности языка придавать старым словам новые значения («лаз», «надолбы»); мелькают «слова в масках», слова с народной этимологией, и такие, что путешествуют по всему земному шару, пересекая границы между языковыми семьями («фара»). Вспомним классы топонимов в «Имени дома твоего»: «имена-чертежи» («существуют страны, имена которых приклеены к ним, точно надписи-таблички на экспонатах огромного музея»: например, Нидерланды — «Низменная страна», «Низинный край»), топонимы-«гибриды и метисы», топонимы-«двойняшки». Сказано лаконично, доступно, и, главное, сравнение выбрано с учетом самой сути анализируемого разряда названий.

Успенский-писатель постоянно помогает Успенскому-ученому охарактеризовать самое сложное явление просто — с помощью очень наглядного образа. Таково, например, описание «инкорпорирующих» языков (индейские языки Америки, чукчей и др.), где слова «как бы набрасываются друг на друга и заглатывают одно другое»; или замечание по поводу бойкой интенсивности, с которой образует «сложные слова» немецкий язык: там происходит прикладывание слов друг к другу, точно намагниченных кусков железа.

Истины ради стоит отметить, что «свободная», образная, терминология сейчас довольно широко проникает в лингвистические труды, преследующие цели популяризации¹. Там можно встретить и «крупноблочные слова», и «корни-захватчики», и «обиженный» средний род. Но, говоря об образности книг Л. Успенского, я имею в виду нечто большее, нежели только «оживление» ученых понятий, большее и принципиально иное.

¹ См. например: В. Ветвицкий. Занимательное языкознание. М.—Л., «Просвещение», 1966. Е. Земская. Как делаются слова. М., Изд. Академии наук СССР, 1964.

Мысль Успенского-ученого, как правило, проходит в своем развитии хотя бы одну (а чаще и несколько) ступень образного воплощения, стадию художественного образа. Это может быть исходная, или промежуточная ступень, или, наконец, вывод.

Сам по себе образ — далеко не всегда детище Л. Успенского. Он может оказаться заимствованным из фольклора, из популярного кинофильма или малоизвестного стихотворения старого русского поэта. Но заимствованный очень уместно, «работающий» для доказательства мысли Льва Успенского, удачно выбранный из тысяч, миллионов других, он как бы переходит в авторство этого писателя.

Художественная литература для Л. Успенского, таким образом, не подручный, подсобный материал, не источник расписанных на карточки «примеров», которые по мере надобности подверстываются в текст, а драгоценный, живой документ языка, от которого писатель зачастую идет¹. Сначала в неприкосновенности сохраненная характеристика Достоевским штабс-капитана Снегирева (Словоерсова), потом — рассуждения на тему, что значил без нужды вставляемый звук «с» в речи многих русских людей. Сначала — объяснение того, какой смысл вкладывал Свифт в необычайно длинную фамилию его высочества короля лилипутов, а уже потом — история появления подобных «многоэтажных» имен у знатных особ в Западной Европе XVIII—XIX веков².

А вот другие примеры образных «вводок» к изложению научной проблемы. Разъясняя, что собой представляет «сравнительно-исторический» метод в науке о человеческих языках, писатель отталкивается от ходячего — в дореволюционные годы — выражения: «Иван, родства не помнящий». Почему беглые каторжники, попадая в руки полиции, по большей части именовали себя Иванами? Да ведь это их имя, — продолжает писатель, — издавна считается наиболее типичным, распро-

¹ Кстати, любопытно было бы составить указатель имен писателей, поэтов, «участвующих» в лингвистических книгах Л. Успенского. Широкого диапазона получился бы список: от Гоголя до Л. Андреева, от Пушкина до Ахматовой, от Рабле до А. Коппарда.

² «Показания» литературы, следовательно, рассматриваются здесь как важные типические обобщения — момент необычайно ценный в лингвистических книгах.

страненным в народе русским именем. А происхождение-то у него не русское; множество его «тезок» — Жанов, Хуанов, Джованни — бродит в различных языках мира. И каждое из этих имен — перевод на соответствующий язык нашего Ивана. Но, чтобы понять это, — пишет Л. Успенский, — придется попросить Ивана припомнить его родство, и притом очень далекое (имя это произошло от Йехоханана, означавшего тысячелетия назад на языке малоазиатских иудеев «милость божья», «дар бога»).

А в книге «Ты и твое имя» писатель начинает главу об отчествах «вич» и «вна», припоминая забавный и трогательный эпизод из кинофильма «Цирк»: американская артистка в горе склоняется над своим другом, молодым циркачом, разбившимся во время трудного, рискованного упражнения, и называет его... «Петрович». Почему мы не можем не улыбнуться, несмотря на весь драматизм ситуации? Ведь «Петровичи» совсем не так выглядят...

Исходный момент намечен. У писателя есть от чего оттолкнуться. Теперь и нам вместе с Л. Успенским интересно задуматься: а что же отчества обозначают и как они произошли, и действительно ли это чисто русское изобретение, как считают на Западе (не зовут же там Александра Македонского Александром Филиппычем или Наполеона — Наполеоном Карловичем), да и у нас тоже.

В других случаях форму живого, изящного рассказа принимает научное доказательство. Помните, как несовпадение рода одних и тех же слов в русском и французском языках обусловило образную специфику басен Лафонтена и Крылова, написанных на один сюжет (главка «Герзания переводчиков» в «Слове о словах»)?

И очень часто образно формулируется вывод, итог рассуждений. Причем иногда метафоричность достигается всего одним словом, прокравшимся в серьезную формулировку («Именем может стать любое слово, но необходимо, чтобы предварительно из него *выветрилось* его значение...»). А бывает, резюме предстает в виде разветвленного сравнения, так кончается, например, одна из самых «аскетических» (в образном отношении) глав в «Слове о словах» — «Языковые семьи». «... То, что

раньше представлялось разделенным и почти неподвижным, те языки мира, которые, казалось, росли по лицу вселенной, как травы на лугу, рядом, но независимо друг от друга, — подводит итоги Л. Успенский, — все это стало теперь походить на ветви огромного дерева, связанные где-то между собою. Заметней всего, разумеется, был как бы ряд небольших деревьев или кустиков: пышный славянский куст-семья, широкая крона языков романских, узловатый дубок германской группы. . .» (стр. 125).

Вообще об одних только сравнениях в образной системе книг Л. Успенского можно написать немало. Сколько их здесь! От наглядно-простых, совсем житейских («. . . письменность каждого языка обычно *отстает* на много лет от более быстрых и постепенных изменений устной речи; так ребенок вырастает из сшитой на него год назад шубейки», — стр. 151) до поэтических («язык как река», «язык как море»), дающих широкий, свободный запев всей книге о слове. От многоступенчатых до кратких, в одно-два слова. Есть очень точные сравнения языковых семей с миром природы, животных и растений (глава «От «волка» до «лу» в «Слове о словах»). Романтически-песенные: «Местные слова, как лесные птицы, держатся всего прочнее в самых далеких, самых глухих углах страны» (стр. 197). Меткие, подобно поговорке: «Слово как подорожник: оно никуда не может пойти само. Но его всюду проносят люди» (стр. 198). И уничижительные, низкие — все в той же главке о бездельнике и лодыре «ъ», который пришлось в свое время отсечь, как «червеобразный отросток слепой кишки».

Правильно ли называть все, о чем рассказано на этих страницах, приемами, с помощью которых Л. Успенский делает занимательным лингвистический материал? Пожалуй, нет.

Лев Васильевич Успенский поднялся ступенью выше. Его книги — не вспомогательное пособие к школьным или вузовским курсам и не подготовительный класс для желающих заняться языкознанием. Это произведения самостоятельного жанра, близкие к художественной прозе. Писатель создает единое повествование о жизни языка, сложной и долгой, полной труда, драматизма, порой и курьезов, о жизни, в которой были и есть свои

серьезные конфликтные ситуации и спокойные времена, но никогда не было однообразия и скуки.

Заключительная часть трилогии— «Имя дома твоего» — тесно примыкает к двум первым книгам. Здесь, среди интересных разысканий в области географических имен, легче, скорее обвыкнется тот, кто уже прочитал «Слово о словах», «Ты и твое имя». Пройдя вместе с Л. В. Успенским трудные лингвистические бои, такой читатель выстоит под шквалом вопросов, которые обрушивает на него автор в этой книге, с большим знанием дела разберется в правильности одних и сомнительной ценности других научных догадок (писатель демонстрирует в книге борьбу разных мнений) относительно происхождения того или иного топонима. Мы уже приучены к необходимости проверять доводы языковеда показаниями историков, географов, археологов, знаем, как это бывает важно — сопоставить звучание интересующего нас слова (имени) в разных языках, — ряды, «колонки» слов, обозначающих одно понятие по-русски, по-фински, по-немецки и т. д., часто встречаются и в «Имени дома твоего». Нам привычна и система маленьких новелл, характеризующая структуру книги, причем здесь много значит выбор географического имени, вокруг которого завязывается основной сюжет рассуждений писателя в узловых главках повествования.

Таким образом, пути и способы подачи материала в этой книге, ее научный аппарат, в общем, те же, что и в первых частях трилогии. Вместе с тем «Имя дома твоего» занимает особое место среди лингвистических книг Л. Успенского и заслуживает отдельного разговора.

«Имя дома...» дорисовывает образ писателя-гражданина, особенно страстного и непреклонного в защите истины, если это связано с воспитанием в человеке любви к Родине и высоких интернациональных чувств. Таким пафосом проникнута вся книга — вероятно, самая боевая, публицистически острая в трилогии и дальше других отстоящая от «чистой» науки.

Внутренняя тема книги определила ее поэтику, образный строй.

Исходный тезис писателя: топонимы любой страны, нашей в частности, — ценности исключительные; с ними нельзя обращаться беззаботно, своевольно менять их, безграмотно искажать. Восстановить географическое

название так же трудно, как фреску работы Андрея Рублева или Феофана Грека. «Упразднить старое имя — это то же, что сжечь старинную книгу, то же, что на древнем потемневшем холсте написать веселенькими красками новую картинку — еще одну копию шишкинских «медведей» или «Девятого вала» Айвазовского» (стр. 71).

Топонимы хранят память о прошлом народа, об истории Родины. Иное географическое имя — как окошко, через которое «можно заглянуть в жизнь, протекавшую почти два, а то и два с лишком тысячелетия назад» (стр. 52). Л. Успенский метко называет такие имена «словами-свидетелями»¹, они могут многое рассказать. Имя — «надпись на могильной плите, полуистершийся священный иероглиф — драгоценная памятка прошлого», имя — «экспонат великого музея топонимики» — этот величавый, торжественный образный ряд вполне оправдан, продиктован всем замыслом книги.

Не дайте же исчезнуть старинному имени — на разные лады, то в подтексте, то открыто, убеждает писатель. А иначе, представьте себе: «Умер последний дед, помнящий, как речонка называлась *Татарка*, и никто никогда уже не узнает о мелкой стычке с татарами, разыгравшейся на ее берегах в каком-нибудь шестнадцатом или пятнадцатом веке. Назовут ее новые поколения Черной речкой или Таракановкой, и в прошлое навеки уйдет последнее свидетельство о той битве...»²

Не деликатничая, называя вещи своими именами, писатель упрекает в варварстве тех равнодушных людей, которые «стирают с карты... Родины драгоценные, прекрасные и многозначительные письма, нанесенные на нее предками всех населяющих СССР народов»³.

Энергичный полемический язык новой книги Л. Успенского пропитан иронией, подчас нескрываяемо злой — и поделом! — зачем, упраздняя в 40-е годы «имена с не-

¹ Л. Успенский. А ей-богу, можно! «Наука и религия», 1965, № 4, стр. 65.

² Л. Успенский. Имя дома моего. (Топонимические заметки.) «Нева», 1965, № 10, стр. 188. Здесь и в дальнейшем цитирую очерки и статьи Л. Успенского, из которых выросла книга «Имя дома твоего».

³ Л. Успенский. Имя дома моего: (Топонимические заметки.) стр. 185.

мецким душком», не вернули Шлиссельбургу его исконного, звучного имени Орешек, а «нахлобучили на него чудовищное сложно-сокращенное, противное духу русского языка: *Петрокрепость*»? — «не завидую тому, кто обессмертил себя созданием этого топонимического урода. Он воздвиг нерукотворный памятник собственному безвкусию и нечуткости к законам русского языка» (стр. 258). Блистательно остроумные, беспощадные отповеди Л. Успенского глупости можно цитировать бесконечно. «Почему из Петергофа сделали точную кальку немецкого слова, такое же нерусское Петродворец? Попробуйте сказать: какой это парк: Петродворцовый? Петродворецкий? Какой район — Петрокрепостной? А как прикажете называться жителям этих так сказать «петропрофобров» — петродворцовцами? Петрокрепостянами? Ведь это же «топор, зажаренный вместо русских слов», перефразируя И. А. Хлестакова»¹.

Писатель располагает разными средствами убеждения в своей правоте. Среди них целый ряд совершенно анекдотических случаев, связанных с произвольной переделкой, подправкой не слишком понятных названий, и каждый такой случай обладает силой саморазоблачения. Местечко Кукерс в Эстонии превратили в Кукурузи (в пору большой популярности этой сельскохозяйственной культуры); минерал «кукерсит» предписано было с того самого момента именовать «кукурузит»; понадобились соответствующие поправки в справочниках, а поправки повлекли за собой письма, недоуменные вопросы: что за минерал, откуда взялся? В общем, дорого и хлопотно обошлась чья-то поспешная полуграмотная инициатива.

Безапелляционной, грубой манере обращения со старинными топонимами, методу скорой перестраховочной расправы с непонятными, «темными» — за давностью лет — географическими названиями (вдруг оно означает какую-нибудь чертовщину, а на этом месте теперь сооружена крупная электростанция или найдены залежи полезных ископаемых?) в книге исподволь противопоставляется другой — метод тщательного изучения редких или примелькавшихся имен городов и селений.

¹ Л. Успенский. А как с красотой? «Советская культура», 1965, 27 июля.

И снова, как в «Слове о словах», читатель посвящается в увлекательнейший, но поистине адский труд исследователя. Лев Васильевич рассказывал мне, что ему довелось разыскать в энциклопедии Брокгауза и Эфрона более тринадцати тысяч топонимов с готовыми этимологиями, на которые доньше никто не обращал внимания. Но зачастую даже много разных словарей не в силах дать нужный ответ относительно одного топонима. И тогда писатель ищет другие пути, консультируется с лингвистами, краеведами, географами, пишет старожилам далеких городов с загадочными именами, ищет след в художественной литературе. И проходит месяц за месяцем, пока удается, наконец, узнать, что прежде глухой таежный распадок в Кузнецком Алатау — Кня-Шалтырь, переименованный в очередной безликий, но зато абсолютно ясный, недвусмысленный Белогорск, значит «Река блеска». «Разве плохое название для города, откуда потечёт река алюминия на наши заводы?»

«Имя дома твоего» — не просто путешествие по карте из края в край. Писатель ведёт нас за собой и в разные стороны земли, и в различные времена. Борьба народов и стран встает за историей географических имен, картины национальных движений, стойкого сопротивления народов завоевателям.

В этой книге свои герои — эпизодические и главные, с судьбой драматической и счастливой, с запутанными и ясными биографиями. Одушевленная силой воображения писателя, остается в нашей памяти речка Печалька, чуточку таинственная, диковатая, и своеобразный, с древней генеалогией, но очень скромный внешне Кня-Шалтырь. . .

«Имя дома твоего» — лирическая книга. В образную ткань повествования искусно вплетены извилины русских рек, нити уходящих вдаль дорог, проза Успенского расцвечена красками родного пейзажа. Суховато-научная, информационная манера рассказа в этой части трилогии безоговорочно уступает место поэтической. Писатель как бы перелагает на язык природы звучные и загадочные географические имена: «Вот они бегут по тайге и по карте (сибирские речки, притоки Таза. — Н. Б.), как стайка веселых лесных девчонок, и шумят, и журчат по-своему». Успенский пишет о любопытных яв-

лениях топонимики, пользуясь образами «морскими», «речными», «снежными»: «поземка ничего не означающих слов, имен без тени значения», которая «запорошила просторы нашей Родины»; «дождь географических имен»; язык народа, «обкатывающий и оглаживающий» при бесчисленных повторениях названия, которые состоят из нескольких слов, «как морской прибор обкатывает остроугольные камешки, превращая их в круглую гладкую гальку». Писатель не злоупотребляет подобно-го рода метафорами, не перегружает ими текст, — они всегда уместны, поскольку рассказ о причудливых именах, нанесенных на карту Родины, неотделим для Л. Успенского от размышлений о природе страны, о ее людях.

Писатель удивительно слышит эти русские географические имена (они для Льва Васильевича действительно имена, человеком данные, с человеческой историей связанные, о человеческой жизни напоминающие, а не холодные названия) — и главную их суть характеризует одним-двумя словами; обычно это определение, одиночное или развернутое, со сравнением внутри. Позволю себе большую цитату. «Вспомним названия нескольких улиц в наших больших городах. Среди них есть звучные и торжественные, как древние былины: Красная площадь и Кремль Москвы, Крещатик и Аскольдова могила Киева, Детинцы Пскова и Новгорода. . . Есть горькие и суровые, как имя новгородской башни Кукуй, в узкие окна которой доносилось «кукование» узников, как название «Лобное место» в той же Москве. . . А имена-памятники — Балчуг и Арбат, Подзорный остров и Новая Голландия. . . А имена, вскрывающие, точно лопата археолога, древние напластования наших городских кварталов — московские Хамовники (Ткачи) и петербургская Моховая-Хамовая; наши Пушкарские и Зелёные, старые слободы питерских пушкарей и зелейщиков петровских времен. . . И тут же рядом милые, как русская природа, названия: Нескучный сад, Плющиха (пусть по церкви, но ведь и Евдокия-Плющиха омыта вешней каплей, падающей с московских крыш 14 марта, на рубеже русской весны), светлые Черемушки, задумчивые Подвески, где некогда была церквушка «под вязками», душистые киевские Липки. . . И вот буйство Разгуляя, и злая ирония Собачьей площадки или Вши-

вой Горки, и благодушная усмешка улицы Матросская Тишина...»¹

Густо написаны эти страницы, лаконично сконцентрированы на них обширные познания писателя, повествование течет широко и свободно. Здесь Л. Успенский становится поэтом. Да, это проявляется не там, где в романах и рассказах он пишет пейзаж или человеческое лицо, он поэт, когда раскрывает значение слов, прочитывает особенно удачное, с его точки зрения, географическое название и объясняет нам его красоту. Цитируя Альберта Доу, который считает одним из красивейших названий мира имя озера-пруда во Франции («Экут, с'иль Плё!» — «Прислушайся, не идет ли дождь?» — звучит оно), Л. Успенский пишет: «Доу прав: только большое чувство природы может родить столь тонкое и поэтичное имя, позволит услышать тихий лепет первых дождевых капель на резонирующей мембране воды и запечатлеть его в слове...»² И дальше: об имени другого озера, в США — его тоже дал француз: «Лак-Ки-Парль» («Озеро, которое говорит») — оно может соперничать с первым: «... в нем — ропот маленьких волн в береговых корнях, свист ветра в тростнике, крик утки в утреннем тумане...» Попутно отметим: Л. Успенский — отличный стилист. Как пишет он о звучании французского имени — чуть изысканно, в духе этого языка, и как о русских. «А теперь садитесь в лодку и пускайтесь в путь вверх по суровой русской реке, по северной Вишере, — продолжает писатель свой поэтический рассказ. — Там, по левую руку от вас, встанет рано или поздно отвесный утес, и вы вздрогнете от испуга, от удивления, от восторга, как вздрогнул когда-то кто-то из ваших пращуров, первым поднявшийся сюда с Камы...» — раздолье фразы, отчасти напоминающей гоголевскую, звучание нашей северной реки, песенное звучание слышно в ней. «Тысячеголосое эхо подхватит каждое ваше слово, каждый плеск весла... Целые незримые толпы забормочут, закричат, заплещут в ладоши вдали... Неведомо где, за излучинами реки, послышат-

¹ А как с красотой? «Советская культура», 1965, 27 июля.

² Здесь и ниже намеренно цитирую эти размышления по статье «А как с красотой?». Дело в том, что в «Имени дома твоего» (стр. 262—263) они оказались лаконичнее — и беднее, суше.

ся голоса... Вы достигли Говорливого камня, вот он навис над вами...» И вот она хлынула на поверхность, глубокая, интимная, вошедшая в плоть и кровь — любовь к России, к родной земле. Такую любовь не высказывают ежеминутно, она выплескивается вдруг — и речь начинает звучать как стихи. Но в половодье эмоций не тонет мысль. Она звучит, проходя лейтмотивом по всей лингвистической трилогии, звучит и здесь, не выпадая из образного строя этих страниц, навеянная народной песней: «Как жаль, что эти два имени разделены континентами и океаном, что Говорливый камень не может побеседовать с озером, которое разговаривает... А может, не жаль? Может быть, это радостно, что и там, и тут, в Европе и Америке, человек создал такую похожую красоту имен». Родство имен — родство людей на земле — мирное сотрудничество государств — мысль-основа многих страниц в этой книге.

В истории литературы бывало уже не раз, и Лев Васильевич Успенский в этом отношении не оригинален, что просторная свобода повествования приходит тогда и тогда художник достигает высот мастерства, когда приступает к рассказу о главном, самом любимом, более всего знакомом и понятном, когда его пером движет большое гражданское чувство и сознание важности того, что он пишет для современников, для соотечественников.



Трудно поставить в этом очерке последнюю точку. Чем его кончить? Подведением итогов? Но это, к счастью, преждевременно: Л. В. Успенский полон новых замыслов и живет не переизданиями, а заботой о том, что еще нужно сказать людям.

В работе новая книга о топонимике — для издательства «Молодая гвардия»; эта тема так захватила писателя, а собранный материал столь увлекателен и велик, что его хватит, наверное, на несколько книг.

Закончена фантастическая повесть, действие происходит в 1911 году; по словам Льва Васильевича, читатель найдет здесь мемориал Петербурга в начале века.

Приходят на рецензию рукописи научно-популярных книг по языкознанию — Успенский относится к поискам молодых авторов с уважением и доброжелательностью.

Десятки журналов и газет самых разных профилей ждут от Успенского статей, реплик, полемики о живом разговорном и литературном языке, о чистоте нашей речи. По мере сил писатель старается удовлетворить все эти просьбы.

День писателя по-прежнему строго размечен; долгие часы проводит Л. В. Успенский в Публичной библиотеке — продолжают трудные розыски, связанные с очередной загадкой языка.

Пока писались эти страницы, стала почти реальностью автобиографическая книга Л. Успенского. Воспоминания, увидевшие свет после «Лукоморья»: «У самого рубикона»¹, «Братски ваш Герберт Уэллс...»², «Был такой день»³ и другие — представляются фрагментами, может быть, даже главами, такой книги. Эти части «личной летописи», в которой «отразился огромный мир, огромный век... размах гигантских событий»⁴, написаны в одной тональности:

¹ В кн.: В те дни и ночи. Ленинградские писатели об Октябре. Лениздат, 1967, стр. 312—326.

² В кн.: Вторжение в Персей. Лениздат, 1968, стр. 443—468.

³ «Литературная газета», 1968, 17 января.

⁴ «Вторжение в Персей», стр. 468.

эпически неторопливо (писатель смотрит на прошлое с высоты долгих прожитых лет) и — вместе — взволнованно, очень сердечно.

Личная судьба писателя в ее пересечениях с жизнью страны, в ее слиянии с эпохой, тревожной, трудной и прекрасной, прокладывает русло этих глав.

Нелегко «разобраться в архиве памяти». Что тускнеет и вовсе истаявает в дали времени и чему, наоборот, «суждено... по мере того как мы все дальше отходим от него, стать в наших глазах великим и вечно-памятным»¹, — размышляет писатель. И рождаются главы о днях исторических, переломных: 25 октября 1917 года, июнь сорок первого в Ленинграде, первый день прорыва блокады...

Со скрупулезной точностью — новой для Л. Успенского точностью памяти сердца — воспроизводит он подобные даты: какая стояла погода, какого цвета было небо, с кем вместе провел незабываемые часы, о чем разговаривал. И любой сбереженный штрих этого радостно или горько памятного дня, его особое, личное освещение дороги современникам, дороги и тем, кто не жил тогда.

Вместе с тем кровное, свое Л. Успенский вводит в воспоминания очень деликатно, тщательно выверяя, что можно и стоит вынести на люди; поэтому так пронзительны — опять-таки неожиданно для писателя — строки о сыне в «Лукоморье», обращение к памяти Н. К. Чуковского, рассуждения о немногочисленных сверстниках-друзьях — там же.

Автобиографическая книга Л. Успенского будет называться «Записки старого петербуржца». «Это нечто вроде первого тома моих воспоминаний», — говорит Лев Васильевич.

О ком же этот очерк? О детском писателе? О просветителе?

В «Имени дома твоего» Успенский делится с нами мечтой о том, что хочет стать для своих читателей *первым рассказчиком* о топонимике. Так вот, обращаясь в своих работах прежде всего к человеку юному — к его доверчивому пытливому уму, к его возможностям в будущем продолжить начатое старшим, Л. Успенский стал первым рассказчиком о сложных, уважаемых, прекрасных науках — языкознании, археслогии, истории, географии — и для людей далеко не молодых. Его книгам о науке (разговору о них и посвящен преимущественно этот очерк) поистине «все возрасты покорны».

...Живет в Ленинграде писатель редкого и самобытного дарования. Давайте помнить об этом.

¹ Сб. «Рядом с героями», стр. 212.

КНИГИ Л. В. УСПЕНСКОГО¹

Запах лимона. Роман. Харьков, изд-во «Космос», 1928. [В соавторстве с Л. А. Рубиновым].

Двенадцать подвигов Геракла. Мифы древней Греции. М.—Л., Детгиз, 1938. 63 стр.

Кот в самолете. М.—Л., Детгиз, 1938. 94 стр.

Храбрый мышонок. М.—Л., Детгиз, 1938. 16 стр.

Четыре боевых случая. М.—Л., Детгиз, 1938. 21 стр.

Пулковский меридиан. М.—Л., Детгиз, 1939. 435 стр. [В соавторстве с Г. Н. Караевым]. То же. Изд. 3-е, переработ. и доп. М., Воениздат, 1956. 584 стр.

Корабли. Л., Детгиз, 1939. 31 стр.

Золотое руно. Мифы древней Греции. М.—Л., Детгиз, 1941. 102 стр. [В соавторстве с В. В. Успенским].

Павлик-фанфарист. Л., Детгиз, 1941. 12 стр.

Рассказы о невозможном. М.—Л., Детгиз, 1942. 49 стр.

Скобаль. М.—Л., Детгиз, 1943. 38 стр.

Рождение «Балтийца». (Из истории одного боевого соединения). Л., Полит. управление Краснознаменного Балтийского флота, 1944. 44 стр.

Рассказы. М.—Л., Военмориздат, 1944. 124 стр.

Занимательная география. Под ред. доц. И. И. Бабкова. Л., Лениздат, 1947. 88 стр.

Слово о словах. (Очерки о языке). Л., Детгиз, 1954. 294 стр.

То же. Изд. 3-е, массовое. М., «Молодая гвардия», 1960. 389 стр.

60-я параллель. Роман. Л., Детгиз, 1955. 725 стр. [В соавторстве с Г. Н. Караевым]. То же. Изд. 2-е, переработ. и доп. Л., «Детская литература», 1964. 830 стр.

Спутник пятнадцатилетнего капитана. Л., Детгиз, 1955. 411 стр. В соавторстве с А. Антрушиным.

На 101 острове. Рассказы о Ленинграде. Л., Детгиз, 1957. 95 стр. [В соавторстве с К. Н. Шнейдер].

Ленинград. Из истории города. Л., Детгиз, 1957. 99 стр. [В соавторстве с В. В. Успенским].

Наши самолеты. Л., Детгиз, 1959. 32 стр. [В соавторстве с В. Бабановым].

Ты и твоё имя. Л., Детгиз, 1960. 293 стр.

Слово о словах. — Ты и твоё имя. Л., Лениздат, 1962. 634 стр.

За семью печатями. Очерки по археологии. М., «Молодая гвардия», 1958. 280 стр. [В соавторстве с К. Н. Шнейдер]. То же. Изд. 2-е, доп. М., «Молодая гвардия», 1963. 296 стр.

Повести и рассказы. Л., «Детская литература», 1965. 413 стр.

Почему не иначе? Этимологический словарь школьника. М., «Детская литература», 1967. 302 стр.

Имя дома твоего. Очерки по топонимике. Л., «Детская литература», 1967. 303 стр.

¹ Библиография составлена в хронологической последовательности выхода книг. В том случае, если книга вышла несколькими изданиями, указываются только первое и последнее.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Истоки	9
Выбор сделан	16
Меридиан, у которого большая история	30
Война	41
Книга о мужестве Ленинграда	49
Снова о Ленинграде	57
Лингвистическая трилогия	65
Книги Л. В. Успенского. (Библиография)	95

Банк Наталья Борисовна

Л. В. УСПЕНСКИЙ

Критико-биографический очерк

Ответственный редактор В. А. Макарова. Художественный редактор Г. П. Губанов. Технический редактор Т. С. Филиппова. Корректоры К. Д. Немковская и Г. М. Шукан. Подписано к набору 9/XII 1968 г. Подписано к печати 21/IV 1969 г. Формат 84×108^{1/32}. Бум. № 2. Печ. л. 3,06. Усл. печ. л. 5,14. Уч.-изд. л. 5,08+1 вкл.=5,13. Тираж 10 000 экз. ТП 1969 № 626. М-34332. Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Заказ № 469. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглаволиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Цена 31 коп.

31 коп